

Владимир Гамаюн
Рассказы. Повести. Эссе

Книга первая. Однажды прожитая жизнь



Владимир Гамаюн
Рассказы. Повести.
Эссе. Книга первая.
Однажды прожитая жизнь

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=22758214
ISBN 9785448345661

Аннотация

Гамаюн – в славянской мифологии вещая птица, поющая людям божественные песни и предвещающая будущее тем, кто умеет слышать тайное. Гамаюн знает всё на свете. Когда Гамаюн летит с восхода, приходит смертоносная буря. Птица Гамаюн считается созданием с особым даром – ей доступны все скрытые знания обо всем, обо всех живых существах. По преданию, эта птица является посланницей бога Велеса. Каждый, кто услышит крик Гамаюна, обретет счастье.

Содержание

Предисловие	6
Часть 1. Ушедшее детство	7
Запах горя	8
Белая зависть	12
Шаровары	15
Сашка Миронов	18
Баня	24
Кости солдатские	28
Эхо войны	32
Мы, наша улица, друзья	35
Времена года	40
Первый телевизор, «зрители»	43
Дед Игнат	46
Мы едем на целину	62
Новое место, новый мир	67
В нашей жизни чёрная полоса	73
Не выпорхнув из гнезда, летать не научишься	80
Догнать и перегнать Америку	88
Мы кузнецы и дух наш...	105
Красатуля, мы все тебя любим	111
Жизнь продолжается	117
Не бери в руки карт, никогда!	122
Психушка	127

Из огня, да полымя	130
Лучшая мама на свете	133
Динга	145
Каштанка	161
Часть 2. Речной флот	165
Затон, начало пути	166
Навигация. Первый рейс	170
Конец ознакомительного фрагмента.	173

Рассказы. Повести. Эссе
Книга первая. Однажды
прожитая жизнь
Владимир Гамаюн

© Владимир Гамаюн, 2017

ISBN 978-5-4483-4566-1

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Предисловие

Свой цикл рассказов о жизни такой, какая она есть, мне хотелось бы назвать, как и один из моих рассказов: «Жизненный экстрим», и, думаю, это будет верно. Потому что за свою короткую жизнь каждый человек много раз попадает в самые разные критические ситуации, иногда бывая на волосок от смерти, испытывает страх, ужас, горечь, обиду, радость, надежду, и все те чувства, которыми наградила природа человека. Способность сострадать, верить, любить и надеяться, присуща одному человеку, это то, что помогает ему в трудном марафоне по дороге жизни. Старт и финиш.

У каждого из нас было детство, у каждого из нас осталась о нём память. Не бывает одинаковых судеб, но есть схожие судьбы. Рождение – это старт, смерть – это финиш, промежуток между этими вехами и есть жизнь, которая началась с твоего детства. Я уже добегаю до финишной черты, но помню весь путь с расстоянием более шести десятков лет, со всеми изгибами, поворотами, пропастями и горами, взлётами и падениями. Моя дорога знакома многим, но эта – только моя. Моя судьба схожа со многими, но эта судьба только моя, и я хочу поделиться воспоминаниями в надежде, что кто-то узнает в том, далёком нашем детстве себя, и вспомнит свой кусочек жизни под названием: «Детство».

Часть 1. Ушедшее детство

*Все когда-то были маленькими, только мало
кто помнит об этом.*

Антуан де Сент-Экзюпери

Странно устроена человеческая память: то, что было более полувека назад, помню как вчера, а то, что происходило вчера, могу долго вспоминать, напрягая извилины.

Пишу о событиях, людях, родных и близких, о друзьях детства, о горе и радостях жизни, пишу о том, что помню и кого помню. Мне хочется побывать в том, далёком детстве, забыть хоть на время о грузе прожитых лет, как будто их и не было. Хочу понять и переосмыслить события тех лет, какими бы они ни были, пережить ещё раз пережитое.

Запах горя

С детства не люблю запах георгинов, он напоминает мне похороны отца. Перед домом упряжка, пара чёрных лошадей, запряженных в «линейку» – это такая повозка на рессорах и с чёрными лакированными крыльями, это катафалк, и мы хороним папу. Он лежит в гробу, обложенный багровыми георгинами, от которых исходит тяжёлый запах горя, который запомнился мне на всю жизнь. Мы, «мелкие», тогда не понимали, что такое смерть, нам казалось, что сейчас папа встанет из гроба, мама и все остальные перестанут плакать, и всем опять станет хорошо. Но папа так и не встал.

Нас, детей, на кладбище не взяли, папу мы поцеловали в холодный мёртвый лоб здесь, около дома и его увезли чёрные лошади, чёрная телега. Катафалк удалялся, навсегда увозя нашего папу. Оркестр исполнял торжественно-печальный реквием, а мы уже стали сиротами, безотцовщиной. Для нас всех наступила другая фаза жизни, всё стало: «До и после»

В те годы у нас много чего не было, но не было и зависти к благополучным, достаточным, а, значит, и счастливым. Наше счастье – это когда был жив папа, но его унесли чёрные кони, и свет для нас всех померк, а у мамы остановились и надолго омертвели глаза, а мы, «мелкие», будто понарошку, искали его, и каждый надеялся, что увидит папу первым,

но время шло, мы выросли, но папы так и не находили.

В ту пору сыто мы не жили, но и не голодали, у нас был сад, где росли огурцы, помидоры, а главное – была картошка, главный продукт всех времён. Росли в саду яблони и сливы, груши и вишня, земля давала нам всё нужное для жизни, а в сарайке были куры и кролики, которых мы любили, жалели и не давали убивать. Тогда мама и купила козу, которая стала нашей кормилицей и наказанием, она проникала, просачивалась сквозь любой забор и, как правило, в чужой огород, за это нам попадало, что недоглядели за этим рогатым отродьем. Зато вечером, когда бабушка доила эту проказницу, мы с братьями, забыв обиду, стояли рядом с кружками в ожидании парного козьего молока. Любили толчёную картоху, залитую молоком, и не было для нас лучшей еды. Носили мы, как и все пацаны того времени, сатиновые шаровары, сандалии на босу ногу, майки и почему-то тибетейки, будто где-то в Азии жили. Все были худые, дочерна загоревшие, с цыпками на ногах и бронебойными пятками, потому что предпочитали летом бегать босиком, и не стерня в поле, ни колючки нас не пугали.

Помню, как впервые на нашей улице у кого-то из мальчишек появился велосипед «ОРЛЁНОК», и счастливый обладатель этого сверкающего никелированными крыльями и рулём, ярко-красного чуда, был горд и неприступен. Он отгонял всех, кто хотел погладить велосипед грязной ладошкой по блестящему рулю, кожаному сиденью, а то, чего

ещё не хватало, тянулся к главному украшению этой мечты каждого пацана, звонку. Но поскольку сам он ездить ещё не умел, то водил его за рога по улице, отчаянно трезвоня, чтоб ненароком кто-нибудь не попал под колесо, ну и, конечно, привлекая внимание тех, кто ещё не видел этого чуда техники и счастливой рожицы её обладателя.

Прошло немного времени, и пацан уже лихо гонял по улицам, распугивая пернатую живность и нежившихся в грязи хрюшек. Показав шик и класс езды, он лихо с разворотом тормозил у толпы друзей в надежде на всеобщее восхищение. Толпа была, конечно же, в восторге, и сам герой, раздобывшись, разрешал всем попробовать прокатиться по очереди. Кто-то, смотавшись домой, тащил веловладельцу сладкие сухофрукты, кто-то даже шоколадную конфету, а он принимал дары как должное, а угодившему давал добро даже на лишнюю минуту проката.

Самокаты на шарикоподшипниках нам мастерили отцы, у кого они были, конечно. Вот была радость, когда с грохотом катишься по деревянному тротуару, отталкиваясь одной ногой. Конечно, с великом не сравнить, но нам самокат привычнее, да и грохоту больше, а, значит, и интересу. Зимой мы катались на самодельных деревянных коньках с проволокой, врезанной в дерево вместо лезвия. Коньки, но чаще один конёк, прикручивали верёвкой к валенку и вперёд. Одна нога на коньке, другой отталкиваешься, летишь, только сопли успеваешь по щекам размазывать, высморкаться ла-

дом некогда.

Потом у кого-то появились сверкающие хромом «снегурки» с закрученными носами, а значит, это ещё один счастливчик. Однако через какое-то время хозяин «снегурок» уже скользил по привычке на одном коньке, а на другом, строго соблюдая очерёдность и время пробега, каталась вся уличная ребятня. Затем у кого-то появились коньки «дутьши», их так звали за утолщение, в котором находилось лезвие. На самом деле, это были «канады» – мечта любого пацана. Санки или салазки были деревянные, но потом стали делать из труб, они были тяжелее, но крепче и долговечней.

Взрослые и дети того времени были доброжелательны, всегда и всем делились и любого шкета в любом доме могли обогреть и накормить. В то же время любой взрослый, заставший сопляка за чем-нибудь непотребным, скажем, за курением, мог всыпать ему как своему родному, а родители ещё и спасибо скажут за это. Многие дети были сиротами, безотцовщиной, и мамкам, тянущим и работу, и семью, углядеть за ребятнёй было невозможно; вот и росли мы как бы сами по себе, а воспитывала нас всех улица.

Белая зависть

В августе старшего брата Мишку собирали в школу в первый раз, в первый класс. Ему пошили из вельвета курточку с блестящим замочком «молнией», купили длинные, как у взрослого, до пяток брюки, кепку «восьмиклинку» с пуговичкой на макушке и блестящие ботинки с широким рантом.

И за что ему одному такое счастье? Это было несправедливо и обидно, и я ревел, как паровозный гудок. А мне хоть чего-нибудь купили?

Моё горе увеличилось ещё больше, когда стали разбирать ранец, сундучок с ремнями, который носят не в руках, а на плечах. И чего там только не было: большущая коробка цветных карандашей, как они пахли, не описать, счётные палочки, ручка с пёрышками, чернильница стеклянная, ещё без чернил, линейка, стёрка, ластик, чинилка для карандашей, тетрадки в косую линию для чистописания, но главным предметом зависти стал, конечно, букварь, с большими буквами и картинками, которые тоже пахли каждая по своему. Это было чудо, но пока не для меня. На следующий год у меня тоже всё это будет, и я тоже не дам братану карандашей, букваря тоже не дам и вообще ничего не дам. В тот день я уснул расстроенный и обиженный, но твёрдо решивший утром идти с мамой и братом записываться тоже в школу, я знал, что меня возьмут, ведь я такого же роста, как и брат.

Утром, когда проснулся, дома кроме прабабушки уже никого не было, мама с братом давно ушли, а про меня опять забыли. Мало мне было этого горя, так они, опасаясь «диверсии» с моей стороны, заперли в старый кованый сундук ранец со всеми принадлежностями. Если б они взяли меня с собой, меня тоже бы записали в первый класс, а теперь придётся целый год жить без ранца, блестящих ботинок, цветных карандашей, а главное – без букваря, такого красивого и пахнущего школой.

От обиды, назло им всем, я решил умереть. Будут знать! Конечно, мама сразу купит мне всё, что и Мишке, да будет поздно, разве что всё это в гробик мне положат? Я набрал полную грудь воздуха и остановил дыхание, будто в воду нырнул, всё, умираю! Пока я «умирал», представил себя в гробу совсем не живого, вокруг меня все плачут, ругают себя, жалеют меня. Тут мне и самому вдруг стало жалко свою молодую жизнь, и я заревел, слёзы лились ручьём, я всхлипывал, шмыгал ставшим вдруг мокрым носом, обнимал бабушку, с которой чуть не расстался по своей глупости. Бабуля была тронута, но не понимала, в чём дело, ведь вчера вроде проревелся и мокроты не должно быть, а вот, поди ты, опять «дождь».

Она вытирает мне «пятак» своим фартуком, и вручает невесть откуда взявшуюся шоколадную конфету. Моё горе и обиду как рукой сняло, не в силах сдержаться, конфету целиком запихиваю в рот, она была вкуснейшая и растая-

ла во рту, как льдинка. Лечу на улицу рассказать кому-нибудь о конфете, показать всё ещё коричневый от шоколада язык, похвалиться красивым серебряным фантиком, а, может быть, даже обменять его на что-нибудь ценное, хорошо бы на рогатку с красной авиационной резиной, – да нет, не получится, наши пацаны не дураки. А рогатка – это, конечно, вещь!

Шаровары

В один из дней я проснулся – дома никого не было, брат в школе, мама с тёткой на работе, бабуля где-то в саду или в огороде. Раз дома никого, значит, мордаху мыть не обязательно, а вот посмотреть, что там под рушничком на столе лежит, нужно. Ага, бабушка позаботилась – пирожки с картошкой ещё тёплые, то, что нужно, кружку козьего молока сверху, а на десерт леденец «монпансье» за щеку. Леденцы в круглой, красивой коробке, они разноцветные, вкусные, и их там много, только нам дают по одному, чтоб мы их сразу не схрумкали, как белки. Не зная чем себя занять, я решил поиграть сам с собой в прятки, а уж потом можно и на улицу податься.

Вот только, где бы я не прятался, находил себя быстро, это было не очень-то интересно, и я решил залезть в огромный старинный, немного страшный шкаф. Открываю скрипучую дверку с одной стороны, но внутрь лезть боюсь, мне кажется, что там кто-то уже есть.

Тут я вижу, что на дне этого чёрного стоячего гроба, с самого края лежит какая-то стопка цветного белья. Интересно, что это такое и чем пахнет. Разворачиваю и у меня аж дух захватило, это были шаровары, но не такие, какие мы носили, сатиновые, тонкие и, как правило, чёрные, а разноцветные: красные, жёлтые, синие – да все из толстого байка

и с начёсом внутри, тёплые, значит зимние.

И чего это мама их прячет, бережёт что ли? А может на праздник какой-нибудь подарит, или на день рождения? Как бы то ни было, а примерять-то нужно, и я начинаю упительный процесс примерки обновок. Одел одни – велики, почти до подмышек, другие – то же и совсем другие – то же самое, в общем, все на вырост. Я решаю, чтоб быстрее подрасти и потолстеть, есть побольше огурцов, после них вон как живот пучит. Моё сердце покорили красные штанцы, и я решаюсь выскочить на улицу и показать всем эту красоту, ведь таких ни у кого нет. Нахожу у бабули в загашнике какую-то верёвочку, подпоясываюсь, чтоб не потерять обнову, и вылетаю на улицу. Пацаны, вот он я, красивый, спасу нет. Босиком, ноги в цыпках, пятки, как копытца у жеребёнка, но какие на мне штаны!?! Приятели гурьбой собрались вокруг меня, со знанием дела щупают материал, восхищённо цокают языками, завидуют. Я кручусь среди них петушком, красуюсь, значит!

Это они ещё не видели других штанов, и я, насладившись произведённым эффектом, кричу пацанам: «Я шасс!», и вновь лечу чёртиком домой, одеваю теперь уже синие, опять хвалясь всем показываю, потом снова в дом, выбегаю уже в жёлтых, цвета свежего поноса. Вся уличная шпана в завидках, а я – герой дня.

Праздник мне испортила соседская девчонка, вредина белобрысая: «Фи, напялил женские трусы и выделяешься,

у моей мамки такие же есть, вырасту, и у меня будут, ещё красивше, „рейтузы“ их звать. – Понял?» Эта шибко умная коза унизила меня перед братвой, и я лечу домой горя от стыда, весь в слезах и соплях. Недолго я был счастлив, но, видно, так устроена жизнь.

Бабушка, которая уже была дома, всплеснула руками: кто это посмел её «унука» обидеть, и что за горе у него? Рассмотрев на мне женские панталоны, подвязанные под подмышками тесёмкой, она всё поняла, выслушала, пожалела маленького дурачка и пообещала никому не рассказывать. Вот только после этого случая мама с тёткой, иногда глянув на меня, прыскали смехом, а потом делали вид, что они смеются просто так, настроение хорошее.

Сашка Миронов

Мой приятель Сашка тоже жил на улице «Ударной», через несколько домов от нас. Их семья была не из бедных, потому что у них был отец, и работал он в тресте главбухом. Правда, что это такое, я в ту пору не понимал, но всякие обеды, так же, как и велосипед, коньки, у Сашки появлялись раньше, чем у многих. Он никогда не задирает нос и готов был поделиться с каждым всем, что у него было.

В Украине все, кто имел возможность, держали скот, но особо «почитаемы» были, конечно, свиньи. Им не нужно как коровам заготавливать сено, выводить рано утром в стадо на пастбище, свиньи всеядны, им не нужен какой-то особый уход и, что не говори, не так жалко резать на мясо, как скажем, бычка. Мы, «мелкие», жалели и свиному, но лишь до тех пор, пока она не превращалась в домашние колбасы, ветчину, сальтисон, сало с прослойками мяса, засоленное с чесночком, со специями, а что может быть вкусней этого?

У нас была коза-проныра, куры, кролики, а вот свиней не было. Сашкины родители держали и коз, и свиней, и всё остальное, их двор был набит блеющей, хрюкающей, гогочущей и кудахтающей живностью, впрочем, как и у других. Нам это было пока не по силам, ведь дома только стар да мал.

Если в какой-нибудь день на улице слышен пронзительный пороссячий визг, значит нужно лететь туда, там режут

свинью и обязательно угостят ребятню обожженными паяльной лампой свиными ушами и хвостом, и можно долго и с удовольствием хрумтеть хрящиком. Как-то этим «деликатесом» нас угостили и в Сашкином дворе, они готовились к свадьбе Сашкиной сестры, и по такому случаю, несмотря на лето, «завалили» кабанчика. Уже на другой день Сашка, запыхавшись, прибегает к нам, за живот держится, рубашка топырится, сквозь неё жир капает. Санька приплясывает, будто у него за пазухой угольки лежат, по животу себя хлопает, ахает, охает, кричит нам:

– Пацаны, забирайте скорей колбасу, она мне всё пузо сожгла.

Выдёргивает из-под ремешка рубашку, и на крылечко вываливаются кольца ещё горячей домашней колбасы, а она, кажется, ещё шкворчит с пылу, с жару. Тут на крыльце вдруг появляется наша мама и, увидев на крыльце колбасный натюрморт, она спрашивает:

– Саша, а это откуда?

Сашка, зная о дружбе между нашими мамами, не моргнув даже глазом, врёт напропалую:

– А это, тётъ Зин, мама вам передала, да ещё и наказала, чтоб я по дороге не сожрал, а вас она угощает. Вот!

Соседка, мамина подруга могла передать пару, ну три-четыре кольца колбасы, но не десять же. Тем более что у них в семье свадьба, и гостей будет много, а их всех нужно накормить. Мама скоренько собирает всю эту вкуснятину и идёт

к ним. Заходит в летнюю кухню, где сама хозяйка хлопочет чего-то, и спрашивает:

– Люба, ты Сашу посылала к нам с угощением?

Та отвечает:

– Да нет, Зин, я вот только что противень из печи вынула, хотела вам горяченькой послать, побаловать, да вот пострел мой куда-то упылил, не докричусь никак его.

Говорит сама, говорит, а тут и глянула на давно уж пустой противень:

– Батюшки-светы, а где ж колбаса-то?

Мама хохочет над подругой, отдаёт ей колбасу и просит не наказывать Сашу строго, он ведь её копия, и всё делается по доброте душевной. Сашку всё равно вызывают на «ковёр», но он даже и не думает оправдываться, просто объясняет:

– Мам, у нас ведь много чего есть, и папка у нас есть, а вот у них и папки нет, и вообще ничего из того, что есть у нас. Так ведь мам?

Мне, уже старому, хочется сказать:

– Будь у каждого в груди такое же сердце, как Сашкино детское сердечко, мир стал бы совершенно другим, и дело не в колбасе, а в готовности помочь каждому по отдельности и всему миру сразу.

Но «сага» о моём кореше Миронове Саньке ещё не окончена, о его добрых делах, маленького «Дон Кихота», можно слагать легенды, но я просто вспоминаю наше детство и Саш-

ку.

В Санькином доме «играют» свадьбу, ради которой и пустили кабанчика на колбасу, котлеты, пельмени и т. д. По тем временам свадьба была богатой, было много важных людей, сослуживцев Сашкиного отца и уже бывших сослуживцев нашего папы, которого мы похоронили не так давно. Мы, мелкота, под предводительством Сашки «просочились» в дом в надежде на угощение и надежды наши оправдались. Нас не стали гнать, а накрыли отдельный столик, заставили его всякой вкуснятиной, велели от пуза «полопать», а уж потом валить на улицу и не путаться у взрослых под ногами. Долго уговаривать нас не пришлось, «смели» со стола всё в один момент, а сладости распихали по карманам, для тех, кто не попал с нами на этот праздник «живота» и для ещё более «мелких», чем мы сами. Пока угощались, я наблюдал за процессом самой свадьбы.

Гостей обходили с большим серебряным подносом, на котором стояли чарки водки. Гости сначала кидали на поднос деньги, а потом выпивали чарочку. Обходили гостей по кругу и не один раз, и чем пьяней и важней был гость, тем больше денег он кидал на поднос. Больше мы ничего интересного не увидели, потому что нас попросили вон, нечего, мол, на пьяных любоваться, да и после криков «горько» нам было стыдно смотреть, как молодые целуются при всех, ведь так могут и дети быть, если долго целоваться. Это мы знали точно.

И на другой день свадьба не утихала, а, кажется, ещё больше набирала силу. Под скрип, визг гармони люди плясали до упаду, сколько было мочи орали про бродягу, который к Байкалу подходит и его омулёвую бочку, славный корабль. Я решаю, что нужно и самому попробовать плавать в бочке, коль это такой славный корабль, что о нём, даже в песне поётся. Насмотреться вволю на пляски и дослушать до конца песню про бродягу нам не дали, зато дали конфет и прогна-ли на улицу, мол, нечего малым глядеть на взрослые забавы.

Вечером того же дня Санёк прибежал к нам с пазухой, на-битой деньгами:

– Берите пацаны, у нас их много, полный ящик комода и на полу ещё валяются, не влезли, наверное, а эти я по-добрал, всё равно мамка заметёт их потом веником, вот я и приволок вам, чтоб не пропали зря.

И смех и грех, все тянут в дом, а этот всё из дому тащит и всем делится со всеми. И ничегошеньки ему не жалко, вот такой у нас друг. Деньжищи мы спрятали, да видать плохо, потому что наша мама нашла их очень скоро, хотя и совер-шенно случайно. Мы, как и положено, получили по задни-цам, а деньги она отнесла обратно Сашкиной маме, горе им, мамам, с нами детворой.

В тот, 53-й год умер Сталин, все женщины нашего дома плакали, соседи заходили друг к другу, тихо разговаривали, гадали, что за жизнь у нас будет без вождя. Но время шло, и мир не рухнул, и ничего не изменилось, всё шло своим

чередом, как и всегда.

В том же году умерла сестра Неля, ей было восемнадцать лет, и это была потеря, и горе, как после смерти папы. Мы по малолетству не могли понять, как это можно умереть не понарошку и ревели за компанию со всеми, ведь все вокруг плакали, жалея Нелю. Нам казалось, что папа и сестра живы, просто они сейчас не с нами, но могут появиться в любой момент, и тогда я их спрошу, где они так долго пропадали. Но они так и не появились ни в чьей жизни, а бабуля сказала, что они на небесах, и встретимся мы только там.

Баня

Невезучий день, суббота. Тётка Люда с самого утра засобиралась в баню. Гляжу, собирает и моё бельишко. Я в ужасе, ведь мало того, что в баню, так ещё и женскую, а я ведь не девчонка, да и после бани ходи как дурак чистый, да ещё и во всём чистом, ни тебе в лужу залезть, ни через забор в чужой сад с пацанами сигануть, да и соседского мальчишку я обещал побороть на спор, при свидетелях, а попробуй-ка после бани в пылище-то вывалиться?

Собрался было в бега податься от этой беды, да бабка, зная меня как облупленного, была бдительна и вовремя тормознула:

– Ишь, аспид, чо удумал, дёру дать, нишкни не реви, не помрёшь, чай, грязь-то смывши. Вон и ноги-то в цыпках от грязи, живого места нет на бусурмане, а пятки как копытца у нашей козы.

Деваться некуда, но я всё равно на всякий случай включаю свой гудок, впрочем, без всякой надежды на пощаду. Тётка, не обращая внимания на моё нытьё, чуть ли ни волоком тащит меня через две улицы в баню, где, на мою беду, сегодня «женский день». Уже в предбаннике я забился в истерике:

– Не сниму шаровары и баста, так буду мыться!

Тётка, хотя уже и сама не рада, что приволокла меня на это позорище, но хохочет:

– Вот, обормот, что мне с тобою, мужик, делать-то? В раздевалке женщин не было, но они могли появиться в любой момент, и я, дабы избежать публичного обнажения, вырываюсь из тёткиных рук и вылетаю в зал ожидания. Тётке деваться некуда, и она берёт мне отдельный номер с ванной, (а это двадцать копеек, совсем не лишних денег) как раз через стенку с общей помывочной. Оказывается, если хорошенько побрыкаться да погундеть, то результат будет.

Тётка наливает в ванну горячей воды, готовясь мыть меня, но я ору:

– Уходи, нечего здесь делать, без тебя помоюсь.

Ей опять почему-то становится смешно:

– Ну-ну, давай, моряк, с печки бряк!

Она наконец-то уходит, а я доливаю холодной воды, чтоб было как в пруду, и ныряю прямо в трусах в скользкую, белую ванну, где вода настолько чистая и прозрачная, что хочется испить её, вот бы в лягушатнике, где мы всегда купаемся, была такая же. О мытье я и не думал, зная, что хорошая грязь со временем сама отвалится, а вот морской бой устроить в этом бассейне – это то, что нужно. Два превосходных корабля стоят на полу – это мои, дышащие на ладан сандалеты. Для начала я сотворил шторм, а потом хозяйственным мылом стал бомбить корабли, разгромив вражескую флотилию в пух и прах. Красота, так «баниться» я готов каждый день.

Расплескав уже почти чёрную от сандалет воду, решаю до-

бавить чистой, тянусь к крану в стене и обнаруживаю там дырку, которую раньше не заметил. Если существует дыра, значит, в неё сначала нужно сунуть палец, а потом и заглянуть, узнать, что там может быть интересного. Нагибаюсь, заглядываю, там виден край шайки, струя воды, женский живот с пупком, а ниже – треугольник чёрных, курчавых волос. Как ошпаренный отлетаю от этого глазка, но любопытство берёт верх, я прилипаю к этой «гляделке» и смотрю не отрываясь. Пупки, животы, «треугольники» меняются, а я пытаюсь рассмотреть в тех зарослях то, что есть у меня самого, и вообще у всех людей. Сквозь «курчашки» видны только шрамы, уходящие под низ живота, и никакого намёка на «то», что там должно быть.

Что-то здесь не так, и я сочувственно цокаю языком, чем же они писают? Думаю, что это виновата война, поотрывало им всё, не повезло, значит. Я на базаре солдат-инвалидов видел, кто без руки, а то и без обеих, безногих тоже много, а вот, чтоб у кого-то между ног всё оторвало, таких не было. Они всегда были пьяные и весёлые, играли на гармошках, а люди давали им кто, что мог. Если б эти тётки показывали всем свои «шрамы», им люди тоже подавали, как и солдатам-инвалидам, или даже больше.

Мои размышления и поиски у тёток хоть чего-нибудь торчащего между ног, прервала моя тётка:

– Вот, паразит, глянь-ка, как он моется. Куда глядишь-то? Она нагибается, смотрит в ту же дыру, всплёскивает ру-

ками:

– Э, да тебя, дитё, в женскую баню брать нельзя, уж больно любопытен стал, мужичок.

Я пытаюсь объяснить ей, что те тётки – инвалиды, потому что у них нет того, что, по моим понятиям, должно быть у каждого человека. Тётка была смешлива больно, опять хочется, обзывает меня дурачком и, несмотря на мои протесты, выбрасывает мои раскисшие сандалеты-корабли из ванны, сливает грязную воду, ставит меня под горячий душ, мылит, драит жёсткой, больной мочалкой. Не забыла она и про моё «хозяйство», и, правильно, ведь это «вещь» нужная, даже необходимая. Как хорошо, что у меня всё на месте, а не так, как у тех тёток. Бедные!

Кости солдатские

Болею, лежу в больнице с плевритом лёгких. Мне в этом году идти в школу, в первый класс, и я боюсь, что проболею долго, и в школу меня могут не взять из-за болезни. Правда, на улице пока зима, потом будет весна, лето, и до школы ещё, ох, как далеко. Болеть совсем не больно, только скучно очень и кашель мучает, да дышать трудно и уколов боюсь, вот они-то больные очень. А так ничего, жить можно, и все тебя жалеют (не то, что здоровенького), кормят хорошо, сладкое дают. Только мне хочется бабулиных щец, и мне иногда приносят их в маленьком бидончике. И это то, что надо, вкуснятина. За время болезни я много чего перепробовал вкусного, а уж конфеты, подушечки мне носили кулками, ешь – не хочу, а бабуля даже передала гостинец – кусок сахара с мой кулак, наверное, я его бросил в столовой в большой чайник, чтоб всем сладко было. Печенюшки и пряники я отдавал обратно братьям, потому что нам к чаю давали их каждый день. А однажды мои братья Мишка с Валеркой принесли мне громадные оранжевые апельсины, мама сказала им, что они из самой Америки. Так мы все и поверили, Америка-то, она вона, где и не видать отсюда, да и откуда они знают, что я болею?

Апельсины были очень красивые и пахли Новым годом, подарками. Я их разделил на троих, поровну, не всё же мне

одному, хотя я и больной. Мама, когда узнала об этом расплакалась, и сказала, что мне нужны витамины и, если я не буду сам есть то, что мне приносят, то помру, а она этого не вынесет и тоже умрёт. Она ушла расстроенная, и мне было очень жалко и её, и себя неживого тоже, и я полночи проскулил, проревел в подушку. Заболел я потому, что бо-сиком бегал по снегу, дразнил бабушку, чтоб она скалкой не страдала и не ругалась: «Супостаты, вы, супостаты, вот я вас скалкой-то и окрещу, греховодники».

Но мы знали, что она не злая, она добрая, это мы, «унуки», иногда обижали её, утаскивая из-под рук что-нибудь нужное, а она потом долго искала приговаривая:

– И куды же это я подевала, старая, не вижу ничо, в глазах застит.

Прабабушка прожила 104 года, и только, когда её не стало, мы поняли, кем она для всех нас была. Она была нашим другом детства, а мы росли, не замечая, как она стареет. Нам казалось, что она всегда была такой вот старенькой и такой будет вечно. Мы её любили и знали, что и она нас любит, а то, что ругала нас так, это было для нас, как птичий щебет, и слушались мы её не всегда, хотя и боялись огорчить ненароком. Бабуля не хотела быть кому-то в тягость, она старалась быть нужной семье, нам, «унукам», и это придавало ей сил. Человек обязательно должен быть кому-то нужным. Она была и домашним лекарем, лечила (что могла, конечно) травмами, заговорами, святой водой. Какие только истории она

нам не рассказывала по нашей просьбе, одна страшней другой. У нас от ужаса волосёнки вставали дыбом, ведь это были истории про упырей, вурдалаков, оборотней, про домовых и гномов, живущих под землёй, охраняющих клады. Рассказывала, как иногда по ошибке хоронили живых людей, а они потом кричали из могил, а пока их опять раскапывали, было уже поздно. Тёмные люди не знали в ту пору про летаргический сон, боялись порчи и крепко верили в Бога.

Уже почти перед выпиской мне пришлось наблюдать страшную картину, и не дай бог когда-нибудь в жизни ещё раз увидеть такое. Во дворе больницы экскаватор копал глубокую траншею под какие-то трубы к котельной и зачерпнул полный ковш человеческих останков рук, ног, рёбер, черепов. Это была братская могила. Кто были эти люди, сколь их там было, сотни, тысячи?

Одно было понятно, что это погибшие солдаты. Приехали военные, долго о чём-то говорили, смотрели какие-то карты. Потом офицеры дали команду солдатам и те начали грузить останки некогда живых людей, солдат, в кузова грузовиков. Молодые солдаты, не заставшие войны, не испытавшие всех её ужасов, смеялись, кидались этими костями, пинали черепа, и некому было их остановить. Эта «зондер команда» грузила то, что когда-то было людьми, как мусор, и это было страшно. Мне казалось, что всех этих людей закопали заживо, я слышал их стоны, а кости, швыряемые в кузова «полоторок», звенели как сухие дрова.

Когда потом я рассказал об увиденном маме, она со слезами на глазах стала рассказывать мне, ребёнку, о том, что в войну на том месте был концлагерь для наших военнопленных солдат и что, когда наши опять стали наступать, немцы всех расстреляли. И хотя Сталина уже как два года не стало, страна всё ещё жила по-сталински, а люди по-прежнему чего-то боялись, и отношение к солдатам, попавшим в плен, было как к предателям, даже к мёртвым.

В то время Хрущёв ещё не успел понастроить «хрущоб» и посадить народ на кукурузу, но он уже кинул клич: «Догнать и перегнать Америку!». И собрался поднимать целинные земли. Много событий стало происходить в стране, но на первом месте, конечно, стояла атомная бомба и освоение космоса. Потом, уже в июне 1961 года, во время посевной кампании, мне повезло увидеть взлёт Юрия Гагарина (Байконур рядом), но о том, что это наш парень Юра, мы все узнали только утром. Сказать, что была радость и праздничное ликование, это ничего не сказать, мы все вдруг стали героями.

А вот лозунг «Никто не забыт, и ничто не забыто!» появится гораздо позже, но уже без Никиты. Вечная память всем павшим в Великую Отечественную войну, вечная память нашему Юре Гагарину. Живые, пойте о них песни, слагайте легенды! Да будет так во веки веков! Аминь.

Эхо войны

Так говорят о взрывах, долго ещё гремевших после войны. В те пятидесятые, несмотря на то, что сапёры нашли и обезвредили большинство мин, неразорвавшихся снарядов, авиабомб в лесах, оврагах, старых окопах, землянках, мы по-прежнему находили боеприпасы. Винтовочные патроны, наши и немецкие выкапывали ящиками, находили и мины, снаряды, гранаты. Мы разжигали большой костёр, кидали в огонь всё, что может взорваться, бабахнуть, жахнуть. Бывало, жажало так, что у нас от ужаса и восторга уши закладывало, а волосёнки вставали дыбом. Автоматные и винтовочные патроны мы насыпали горкой в немецкую каску и ставили в огонь, чуть погода раздавался треск разрывающихся патронов, и они просто выскакивали из каски, но иногда, правда, и пули свистели, но редко.

А иногда патроны укладывали рядком на рельсы перед проходящим составом, а сами ныряли вниз под откос. Мы знали, что взрыва не будет, а раскатанные в блинчики гильзы у нас были в цене – это были наши игрушки.

Однажды пацаны постарше откопали где-то здоровенный снаряд, кое-как затащили его на железнодорожную насыпь и принялись его ковырять, пытаясь открутить взрыватель, а нас, мелких, они прогнали с насыпи вниз. Тем мальчишкам было лет по тринадцать-четырнадцать, они так и оста-

лись совсем юными шалопаями тех послевоенных лет. Прогремел взрыв – пацаны погибли. Нас, маленьких, осколками даже не задело, мы были в самом низу насыпи. В городке слышали взрыв, и толпа народа ринулась к железке, матери бежали, заранее голося, будто каждая уже видит своего погибшего ребёнка. Наша мама была на работе и к нам бежала, летела тётка Люда, она была для нас и как тётка, и как вторая мама, и старшая сестра, ведь ей было в ту пору всего лишь или уже двадцать лет. Увидев нас живых и здоровых, она молча опустилась на колени, перекрестилась, хотя как комсомолка в Бога не верила. Потом, придя в себя, отшлёпала нас наспех, схватила младшего Валерку на руки и погнала к дому, подальше от этого страшного места. До самого дома она гнала нас, как гусят, подстёгивая какой-то хворостинной по голым икрам, всхлипывая и всё ещё не веря, что мы живы.

Тех ребятешек хоронили всех вместе, и, казалось, все матери города собрались на этих скорбных, горестных похоронах. Горе было страшное, плакали все женщины, рыдали и причитали, будто хоронили собственных детей, так оно и было, потому что в ту пору чужих детей не было, были просто дети, которых все любили и берегли как могли. Но вот этих не смогли уберечь, и у каждого взрослого появилось горькое чувство вины, а мужики, прошедшие страшную войну, сами, погибавшие в шахтах и на фронтах, не могли поднять, казалось, от насквозь окровавленной земли сухих ненавидящих глаз. В тот момент они были опять на фронте,

и они опять были готовы идти в атаку за каждого погибшего ребёнка, за каждую капельку застывшей на веки крови, за каждую упавшую материнскую слезинку.

После этого трагического случая опять работали сапёры, спрашивали нас, где мы берём боеприпасы, где их искать, но мы молчали, как партизаны, а потом опять находили, выкапывали, взрывали, гибли сами, но молчали.

Мы, наша улица, друзья

Мы не были ни жадными, ни жестокими, дрались, но зла не помнили, мирились быстро, дрались до первой крови. Если тебе расквасили носопырку, пустили кровяную юшку, значит, ты побеждён, добивать, бить ногами не моги, это запрещено и не важно, с кем ты дрался – с другом или с чужаком. Зачастую тот, кто расквасил тебе нос, не отходил от тебя, переживал, советовал, как лучше остановить кровь, а то и предлагал:

– Ну хочешь, стукни меня тоже в нос, мне ни капельки больно не будет.

В «войнушку» мы тоже частенько играли, но быть врагом, фашистом никто не хотел, потому все мы были советскими, а войну признавали просто учениями, и никому не было обидно. Сражались улица на улицу, у всех пазухи были набиты твёрдыми, зелёными яблоками, это были гранаты. Если таким фруктом хорошо попасть, то и зубы молочные вылетят, и губы станут толстые, как у негра, а если попасть в глаз противнику, то и фингал будет размером с яблоко. Иногда такое случалось, тогда две армии объявляли перемирие, собирались возле раненого бойца, чтобы жалеть его, лечить советами да примочками.

Ранение нужно было как-то скрыть, иначе наши мамки устроят такую войну меж собой, что и чертям тошно станет,

и нам всем достанется: и победителям, и побежденным.

Мой вечный «хвостик», младший братишка Валерка

Так уж принято, что старший брат, хоть и сам ещё с вершок, водится с младшим. Это было для меня наказанием, ведь я не мог участвовать во всех пацанских играх и проказах наравне со всеми. Выход из положения был один, подкинуть братана хоть на время девчонкам, они всё равно сидят на месте, играют в свои девчачьи игры, куклы, дочки-матери. Братишка был очень спокойный красавчик, с чёрными кудряшками, девчонки любили с ним возиться, и я знал, что они ни за что его не бросят, поиграют с ним, накормят, если он попросит, а если уснёт, будут сидеть и мух отгонять. За это время я смогу набегаться с пацанами, поиграть во что-нибудь, залезть в чужой сад, а, может быть, успеть и подраться с кем-нибудь. Лафа!

Братана подбрасываю девчонкам, они сразу определяют, спорят, кто будет ему мамой, кто сестричками. Но я этого уже не слышу, я улепётываю так, что пятки до попы достают, мне срочно нужно найти свою ребячью банду – один пацан на улице не пацан! Бывало, что я, заигравшись, бежал до темноты, тогда девчонки несли уже спящего братишку к нам домой, сдавали маме, тётке или бабушке, а я, придя с повинной головой, всё равно получал «бубней», и самое обидное – я понимал, что не прав, что виноват, и от этого

осознания своей вины мне было ещё горше, какой же я всё-таки гад. За ночь чувство вины притуплялось, а утром меня опять ждал мой рюкзачок, мой младший брат Валерка. Я клялся сам себе, божился, что сегодня братана с рук не спущу, но глаза уже искали девчонок, и всё повторялось снова.

В детстве младшему не везло, и хотя мы, казалось бы, не спускали с него глаз, он вечно попадал в какие-то передряги. Однажды на кухне наш малой, подставив табурет, залез на верхнюю полку шкафчика и опрокинул на себя бутылочку с уксусом, залив себе глаза. Как это случилось, остаётся только гадать, ведь бутылочка была закрыта, значит, он смог как-то открыть её. Так или эдак, никому от этого не легче, а бедолага братан от боли кричит, заходится. Пока «скорой» нет, бабуля промывает ему глаза святой водой и что-то нашёптывает. Приехала «скорая», что само по себе уже было удивительно, промыли глазёнки каким-то раствором, успокоили боль, что-то там ещё делали, но, слава Богу, всё обошлось.

В другой раз бабуля почистила печку, выгребла раскалённые угли на стальной лист около поддувала и пошла за ведром, чтоб сгрести угли в него и вынести на улицу. На улице в тот день было слякотно, и мы, трое братишек, носились по дому в догонялки. Не помню, кто из нас старших толкнул нечаянно младшего, но он оказался сидящим голой попкой на раскалённых угольях, и тот крик братишки до сих пор стоит у меня в ушах. Опять «скорая» прибыла быстро, сделали

всё, что нужно в таких случаях, и опять у братишки была боль физическая, у нас всех – душевная и чувство большой вины, что опять не уберегли. Пока брат болел, мы не отходили от него ни на минуту, забыв про улицу, друзей – про всё, что было в нашей обычной жизни.

Я мало упоминаю о старшем брате Мишке, он хоть и старше меня всего на один год, но у нас почему-то были разные интересы, разные компании. Он считал себя обязанным воспитывать меня, а я старался всячески избегать этого. Михеич, в отличие от меня, был рассудительным, спокойным парнишкой и всегда удерживал меня от опасных, опрометчивых поступков. Даже когда мы ещё не умели плавать, я лез в глубину, захлёбывался, барахтался, а мой старший брат бегал по берегу и грозился, что если я утону, то он всё расскажет маме. Но в один из дней я сам не заметил, как поплыл не «по-собачьи», не руками по дну, а по-настоящему. Я уплывал всё дальше от берега, немного труся, но гордясь собой и пугая брата, в ужасе бегающего по берегу. Потом и он поплыл за мной, ему больше ничего не оставалось делать, как плыть за мной.

По жизни нельзя плыть, по ней нужно идти, и, повзрослев, мы пошли каждый своей дорогой, но брат Михеич так остался моим старшим братом, и где бы я не был, в какую бы беду не попал, я знал, что он всегда придёт на помощь.

Один эпизод из того далёкого детства у меня до сих пор стоит перед глазами. Гроза, гром, молнии, дождь хлещет, как

из ведра, я бегу по глубоким лужам с Валеркой на руках. Он прижался ко мне, крепко обняв за шею, глазёнки испуганные, он не понимает, что происходит, почему всё сверкает и грохочет. Нам холодно и страшно, мы мокрые до нитки, и тут я падаю в какую-то яму с водой прямо на братишку, он захлёбывается грязной водой, а я скольжу и не могу встать на ноги. При вспышке молнии я вижу его полные ужаса глаза, и какая-то сила выбрасывает меня из того омута. И вот я уже на ногах, и несусь как пуля в сторону дома. У брата разбита голова, течёт кровь и тут же смывается ливнем, я крепко держу его, а он настолько испуган, что даже не плачет, только всё крепче держит ручонками мою шею. Мне страшно только за него, а меня самого как будто и нет, я ничего не чувствую, у меня только одна мысль, одна цель, спасти брата.

Но вот и дом, и мы вваливаемся в домашнее тепло, но Валерка по-прежнему не отпускает меня. Потом увидев испуганную маму, вдруг заплакал и потянулся к ней. Всё кончилось хорошо, нас обмыли тёплой водой, растёрли, обогрели, напоили чаем с малиной и уложили спать. На следующий день состоялся «разбор полётов», мне попало веником, а я радовался, что это не кочерга, как иногда бывало.

Времена года

Осень, весна, лето, зима – всё хорошо. Зимой лепим снеговиков, играем в снежки, зимой – коньки, санки, лыжи, зимой – простуда и полон нос, но что может быть лучше зимы?

Весна, долгожданное, тепло, солнышко, тают наши снеговвики, ручьи бегут, торопятся в моря и реки, первая робкая травка, сады цветут, всё в цвету, белым-бело. Природа улыбается людям, а люди, будто очнувшись от зимнего забытья, радуются весне, солнцу жизни. Как хорошо, мудро устроен мир, всему в нём находится место, а весенние надежды всегда сбываются.

Лето – лучшая ребячья пора. Ураа! Каникулы! Не нужно больше таскаться в школу с портфелем и чернильницей в мешочке за три версты, не нужно больше перелезть под железнодорожными вагонами на сортировке, когда их толкает маневровый паровозик. Спи до упаду, бегай, купайся, лазь по деревьям, ищи по старым окопам и блиндажам то, что не обнаружили сапёры. И вообще, сколько нужных и полезных дел можно сделать за день. Вот только нужно вовремя дёрнуть из дому, иной раз, даже не позавтракав, но и это не беда, всё равно краюху хлеба кто-нибудь из друзей под рубашкой принесёт. Не убеги вовремя, будешь полоть, дёргать травку в огороде, а на шее или на спине будет сидеть малой братан и рулить твоими ушами.

Сады-огороды были у всех, но самые вкусные фрукты и овощи росли почему-то в чужих садах и на чужих грядках. Приходилось делать набеги, рискуя накрученными хозяином ушами, а то и настёганной прутом задницей, но даже это нас не останавливало. Ели мы всё подряд: сливы, вишню, груши, белую шелковицу любили и даже белую акацию, в которой были какие-то червячки. Варёная кукуруза у нас шла на ура, от незрелых овощей и фруктов мы поносили, но и это не считали бедой. В ту пору у нас не было компьютеров, но у нас было детство и, как сейчас я понимаю, счастливое!

Осень. Всё поспело, дома идёт заготовка компотов, всевозможных варений, солений, вялений. В доме стоит запах трав, укропа, пахнет чесноком, немного мятой. Нас, ребятню, усаживают во дворе на брезент лущить кукурузу из початков, а немного в стороне наша тётка Люда выбивает из подсолнухов семечки. Она колотит по шляпкам короткой, толстой палкой, и семечки дождём сыплются на брезент. Это, по моему мнению, гораздо интереснее кукурузы, и я присоединяюсь к ней.

Эти семки потом увезут на маслобойку, а оттуда привезут жёлтое, пахучее подсолнечное масло и круги «макухи», а может быть, и немного халвы. «Макуха» – это выжимки, то, что осталось от наших семок. Её очень любят свиньи, и это лучшая привада для рыбы. Ели её и мы, она пахла жареными семечками и шла у нас за первый сорт. Конец лета, начало осени, осень – самое интересное, вкусное время года.

Потом опять весёлая снежная зима, и этот круговорот жизни не остановить никому и никогда.

Первый телевизор, «зрители»

Через три года после смерти папы, в году 1955-м, наша мама вышла замуж за майора в отставке, она ведь была ещё не старая, да и нас, малых нужно было растить, подымать. Она надеялась, что он сможет заменить нам отца, но этого не случилось, помня о папе, не приняли мы его, ради мамы терпели, но, чувствуя в нём чужого, боялись. Может быть, мы и назвали его папой, но в один из дней он пришёл домой пьяный, при нас, детях, затеял ссору и замахнулся на маму. Мы были потрясены, были в ужасе, как он смеет орать, да ещё замахиваться на нашу маму, и мы как волчата бросились на него. Мама плача сгребла нас в охапку, как курица птенцов укрывает от опасности крыльями, закрыла нас руками, потом увела в другую комнату. Я видел глаза вмиг протрезвевшего отчима, он не ожидал увидеть в нас, маленьких такую ярость. И даже потом, когда они прожили много, много лет, никто и никогда из детей не видел, чтобы он обижал маму.

Отчим работал на шахте инженером-энергетиком, неплохо разбирался в электричестве, радио, и благодаря ему у нас первых на улице появился телевизор, КВН, кажется. Он был размером с книжку, впереди перед экраном стояла линза наполненная глицерином, изображение постоянно плыло, рябило, строчки бежали вверх и вниз. Соседские мужики

по команде отчима крутили, вертели антенну в разные стороны, ловя убегающее изображение. В ту пору это было чудо, кино на дому. Несколько дней в неделю наш дом превращался в клуб: народ с улицы, а то и с соседней, плотно набивался в избу, неся собой малых детишек (большие давно уже были здесь), полные карманы жареных семечек и чужие запахи. Мужики приходили на «кино» изрядно причастившись, от них несло перегаром самогона и табака. Взрослые, как и положено в клубе, лузгали жареные семки и плевали на пол, дети громко, никого не стесняясь, пукали кто громче, и это было весело. Большенькие, уже немного стесняясь, пускали вонючих «шептунов» и при этом усердно делали вид, что они здесь не причём.

Запашок и так в доме стоял, как в туалете, а тут ещё и мужикам невольно стало высидеть пару часов без табака – закурили дружно. Тут уж мама встала на дыбы: «Мало того, что от вас, паразитов, перегаром разит, так вы ещё и своих детей табачищем травить вздумали, изверги! Марш на улицу!»

В общем, не рады мы стали этому изобретению прогресса, нам уже хотелось покоя, и иногда мама объявляла, что телик сломался. Толпа не веря, всё равно толкалась у калитки в надежде на «кино». Были уже и такие, если его не попросишь вон, он всё равно будет сидеть, тарашиться на тёмный экран, уповая, не зная на что. Какими-то правдами, иль неправдами, отчим достал дефицитнейший в ту пору кабель, и мы стали выносить телик во двор, ставить на стол, пусть

смотрят, не жалко.

Пусть там пердят взрослые, пукают дети, пусть плюют шелухой, воняют табаком и самогоном – мы купили этот «ящик» для всей улицы. Теперь к нам шли со своими лавками, табуретками, летний «кинотеатр» да и только. Всему своё время, толпа зрителей постепенно стала редеть и скоро совсем иссякла, это оттого, что телевизоров становилось всё больше, и они становились всё лучше, да и народ уже мог позволить себе то, что раньше считалось диковинкой и роскошью. Хоть мы и вздохнули свободно, но мне было немного жаль, что такие знатные посиделки закончились.

Как давно всё это было, это был прошлый век и даже другая эпоха!

Дед Игнат

В 1952 году, после смерти папы наш дедушка Игнат, оставив вдову, с которой жил, перебрался к нам. Дому, семье нужен был мужик, добытчик, а нам, трём короедам, пацанам, твёрдая рука.

Дед всю жизнь проработал в шахте, и Бог миловал его, дав прожить до пенсии, и пусть не глубокой, но старости. Спустился он первый раз в забой, как и многие шахтёрские дети того времени, в семилетнем возрасте. Но какую работу можно было поручить ребёнку под землёй? Мальчишки работали коногонами, они водили лошадей, которые в вагонетках вывозили из забоя уголь. Чтоб лошадь хорошо тянула, её саму нужно было тянуть и подстёгивать, для этого и набирали детей в коногоны. Мужику эту работу не поручишь – слишком ценны были шахтёрские руки, так что это был удел детей и инвалидов. На «гора» лошадь, проработавшую под землёй всю свою лошадиную жизнь, поднимали лишь, когда она уже не могла таскать свою тяжкую ношу, при дневном свете лошадь слепла, и жестокие, неблагодарные люди отправляли её на живодёрню, твёрдо веря, что совершают акт милосердия.

Дед, проведший под землёй добрую половину жизни, и сам со временем стал похож на старого, убитого каторжным трудом, одра. Мало кто из старых шахтёров не побывал в шахтных авариях, не был покалечен, ведь в забоях, штре-

ках на почти километровой глубине случались и взрывы метана, выбросы пластов, да и клетки для подъёма людей, бывало, обрывались, всё было. Мало какую из шахтёрских семей не посетило горе, и когда по набатному шахтному гудку люди узнавали, что под землёй случилась беда, бабы, жёны шахтёров, побросав работу, оставив малых детей на большиеньких или стариков, с воем летели по улицам к подъёмной машине шахты. Каждая из этих женщин молила Бога, чтоб её муж, брат или кто-то из близких уцелел и в этот раз, чтоб беда миновала её семью. Это был простительный женский эгоизм, и хрупкая надежда, что минует ее сия горькая чаша, и беда обойдёт стороной.

Но иногда Бог оставался глух к этим мольбам, и когда женщина видела на чёрной шахтной траве тело мужа, лежавшее в ряду с другими погибшими шахтёрами, поняв, что у неё нет больше её опоры в жизни, а у её детей – отца-кормильца, что она уже вдова, а её дети – сироты, сами собой подымались к небу кулаки в гневе и ярости, проклиная того, в кого она так верила и кому всю жизнь молилась. Кажется, небо должно было рухнуть и ударить молнии от такого святотатства, богохульства, но небо не упало, и земля не разверзлось, и молний не было, и Бог по-прежнему оставался глух к женским стенаниям.

Раньше она божилась, что никогда не отдаст сыновей шахте, но ещё не знала, что после похорон старший сын выйдет в отцовскую смену и в тот же забой, а она даже заплакать

не сможет сухими от горя глазами, лишь поставит в церкви две свечи, отцу и сыну. Одну свечу – за потерянные надежды и упокой души, другую – за вновь обретенные, во здравие и многие лета.

На шахте басом загудел гудок, это означает, что пришло время пересменки и скоро на улицах появятся идущие со смены шахтёры. Они идут усталые, на их лицах видны только глаза да зубы блестят. Мы тоже ждём своего деда, напряжённо вглядываясь в даль улицы, а увидав наконец-то своего дедулю, летим наперегонки ему навстречу. Он подхватывает нас на руки и по очереди подбрасывает в небо, да так высоко, что дух захватывает. Ни нас, ни деда не волнует то, что мы испачкались об него в угольной пыли, и все получим нагоняй от женщин. Мы с братьями ведём деда к дому, но нам невтерпёж и ноги сами несут нас вперёд. От нетерпения мы делаем круги вокруг его и устремляемся наперегонки к нашей калитке, чтобы открыть её к приходу деда. Мы знаем, что ему нравится, когда мы вот так встречаем его, но нам и самим это в радость. У нас нет папы, но у нас есть дед.

Женщины нашего дома тоже ждут его, хозяина, добытчика, главного мужчину нашей семьи. Мама или тётка уже давно налили почти полную ванну воды, она громадная и сделана из толстой жести самим дедом под его двухметровый рост. На плите у бабули в вёдрах кипит вода – это тоже в ванну, чтобы разбавить холодную, иначе уголь не смыть. Бабуля держит под рукой и кусок самодельного хозяйственного

мыла и очень большую, жёсткую, сделанную из лыка мочалку, ждёт деда и грубое полотенце, и сменка чистого нижнего белья. Мы знаем, что от той мочалки не только грязь с тела слезет, но и кожа, а то, что если останется, то дерёт грубое самотканое полотенце, а деду, хоть бы что.

Приходя со смены, он обычно долго молчит, как бы проживая ещё раз уже прожитый день, и хотя дед и слова может до поры до времени не вымолвить, всё будет идти по раз и навсегда заведённому порядку, и не дай бог кому его нарушить. Баба выливает в ванну вёдра с кипятком и, что-то про себя бормоча, уходит на кухню. Дед, ни на кого не обращая внимания, раздевается донага, пробует громадным кривым пальцем ноги воду и, кряхтя, садится в ванну. Мы, «унуки», пока дед раздевался, с трепетом и ужасом смотрели на его страшные шрамы, на плечах, спине, ягодицах, он весь был сшит из лоскутков, будто его когда-то пропустили через гигантскую мясорубку. Мы представляли, как же ему больно было, смотрели на его шею, руки, где проходила чёрная угольная граница с белой кожей.

Дед, блаженствуя, погружается с головой в этот самодельный бассейн и вода начинает чернеть, он долго плещется, очищаясь от телесной и душевной скверны. Мы-то знаем, что после помывки он станет другим человеком, он станет веселей и добрей, хотя мы любим его всякого. Бабуля, теряя терпение, кричит ему:

– Игнат, хватит бульки пускать, как дитя малое, щи ведь

стынут.

Дед наконец-то садится в корыте, а баба начинает его обихаживать «виходкой», намыленной самодельным липким мылом, она дерёт ему спину, плечи, руки, так что кажется, скоро кровь брызнет, а дед только жмурится, как кот да побряхтывает. Бабуля хоть и усердствует с мочалкой, но шрамы на спине и плечах обходит сторонкой, только погладит мыльной ладошкой и мелко окрестит. Дед этого не видит, да и глаза у него закрыты, он почти спит. Мы прыскаем за его спиной смехом, бабуля моет его как маленького, как обычно моет и нас, а дед-то вон какой, здоровенный да длинный.

Когда, по мнению бабки, дед уже достаточно красный и чистый, и она велит ему встать, а нам, «унукам», теперь нужно влезть на табурет и сверху поливать его чистой тёплой водой, ополаскивать.

Для деда баня окончена, и он, ничуть не стесняясь, вышагивает из корыта, а мы тут же втроём сыпемся в эту же воду, только теперь с нами и третий брат Валерка. Он подросток и теперь от нас не отстаёт, и нам без него никуда, одним словом, хвостик.

Пока дед вытирается суровым полотенцем, надевает длинную домотканую рубаху и подштанники, нам можно поплескаться в той грязной, мыльной воде. Дед смотрит, как мы ныряем, какой шторм учинили в корыте, и больно не торопится, ему нравится наша возня в корыте, наши крики,

на которые сейчас прилетит бабуля. Но век сидеть усталым и голодным не будешь, даже ради любимых внуков, и дед встаёт с табурета, а к нам уже летит бабуля с ушатом чистой, почти холодной воды. Она по очереди поливает нас из ковшика, а потом шлёпает по розовым задницам и приговаривает:

– Оболокайтесь, шибенники, оголодали, небось, бегавши-то, давайте с дедом за стол снедать.

Чистой одежки нам не положено, больно жирно будет, она ведь нам на пять минут, ведь нас уже ждут лужи, заборы, деревья, а ношенная одежонка для этого в самый раз подходит, если и порвёшь, то сильно и не заругают. Да и не баня это была вовсе, искупнулись просто с дедкой за компанию, а вот когда бывает настоящая баня, тогда взвоешь, мама с тёткой всю кожу с тебя сдерут вместе с грязью, да ещё и наголо оболванят ножницами, вся башка будет лесенками. Бывало, я на всякий случай ревел в надежде на пощаду, а они знай себе чикали ножнями по моей «тыковке» да хохотали до упаду. Что с них взять, бабы!

Бабка наливает в большую миску шей, опускает туда деревянную ложку и подаёт деду с большим ломтем ржаного хлеба. Дед, ни на кого не глядя, сосредоточено хлебает щи, отщипывая раздавленными работой заскорузлыми пальцами кусочки от большой краюхи. Белый хлеб мы и в праздники видим редко, а что может быть вкусней французской булки, которую все почему-то называли «саечкой», разве что две

булки сразу? За неимением булки мы наворачиваем за обе щёки ржаной хлеб вместе с горячими щами, только ложки мелькают.

Тут бабка, не выдержав, шипит на деда:

– Чему унуков учишь? Сам сел за стол лба не перекрестив, и эти нехристями растут, без Бога в душе.

Дед ухмыляется, подмигивает нам:

– А вот ты мать и отмолишь за всех нас, побьёшь поклоны этому пузатому попу, а унуки мои малы ещё и безгрешны и каяться им не в чем, и молиться им ни к чему. Бабуля в ужасе от таких богохульных речей, она всплёскивает руками и кидается в угол, где висит старинная икона с коптящей немного лампадкой перед ней. Она начинает бить поклоны, бормотать скороговоркой молитвы, о чём-то прося Бога, и мелко-мелко крестится.

Хотя мы в её устах нехристи и бусурмане, но все крещёные и в церковь с ней любили ходить. Там очень красиво, пахнет вкусным дымком и Богом, а ещё там поют какие-то ангельские песни, вот только поп не поёт, а что-то громко и непонятно бормочет и кроме слова «аминь» я ничего не понимал. Зато он давал всем причаститься сладким кагором из маленькой золотой ложечки с крестиком на конце и вручал просфору, как я понял, это было тело Христово. Мало, видно, было тела у него, потому что кусочки были совсем маленькие, и хотя совсем не солёные, но есть можно.

Бабка всегда в церковь шлёпала босиком, неся новые бле-

стящие галоши в узелке из платочка. Перед тем как зайти в церковь, она споласкивала ноги у колодца, одевала сначала белые вязаные носки и только потом совала их в тёплое, красное нутро калош. Белый платочек она повязывала на свою, такую же белую голову и становилась нарядной, словно пришла к Богу на свидание. Вот и в тот раз мы, трое правнуков, дождавшись своей очереди, с удовольствием угостились, причастились кагором, сделали вид, что целуем крест и руку попа, схватили по просфоре и вылетели в церковный двор, где уже носились такие же «богомольцы», как и мы.

Самое интересное место на церковном подворье – это, конечно, была колокольня, куда нас к нашему великому огорчению не пускали, но звон колоколов – это то, ради чего сюда стоило приходиться. И вот оно!

Первый удар самого большого колокола, дяди Вани, бумм, потом удары сразу нескольких колоколов поменьше, но позвонче, бум-бим-бом. Затем зазвенели маленькие колокольчики, звонкие и весёлые как дети: динь-динь-динь. И пошёл святой благовест над домами, садами, уходя куда-то ввысь, в небо, к облакам и к шахтному террикону, где черти серу жгут и жарят грешников, где по ночам видны жёлтые, синие, красные огоньки и пахнет серой.

Но вот служба окончена, бабуля выходит с просветленным лицом и умиленным взглядом, знать, с самим Господом Богом пообщалась, а это вам не хухры-мухры. От неё теперь

тоже пахнет, как и от Бога, ладаном и ещё чем-то святым, но непонятным нам. Мы давно бы уже смылись по своим пацанским делам, которых у нас как всегда было невпроворот, но нам строго-настрого было велено охранять бабулю от собак и лихих людей и доставить её домой в целости и сохранности. Такое доверие нам было лестно, ведь нам с Мишкой на двоих уже было почти двенадцать лет, младший Валерка в счёт пока не шёл, больно мелкий ещё, и его самого нужно беречь и охранять.

Дед похлебал шей, бабуля подаёт ему гороховое пюре без мяса, но щедро политое подсолнечным маслом, сбитым из своих семечек. На столе ещё есть свежие огурцы и краснощёкие помидоры, готовые вот-вот лопнуть от избытка томатной крови, и когда их разламываешь, они сами разваливаются, обнажая сахарную мякоть. А ещё огурцы можно есть с мёдом, а помидоры посыпать сахаром, вот только нет у нас мёда, а сахар только кусковой, крепкий как камень.

Но деду нужно мясо, и баба виновато разводит руками:

– Ты, Игнатушко, вздремни чуток, а я вот ужо петушка ощипаю, с лапшичкой-то и сварю, больно хорошо будет, знатно.

– И эти бусурмане похлебают, а то худы уж больно, как шкелеты совсем, будто и не кормят их вовсе. А петушка я из супа выну да в тряпицу заверну, под землёй в забое и перекусишь, да ещё пару яек отварю покруче, да огирков с помидорками положу, сольцы бы щепоть не забыть положить,

да краюху хлеба. В перерыв поснедаешь, глядишь, и не голодней других-то будешь.

Так балагурия, скорей для себя, чем для деда, бабка шустро убрала со стола, вытерла клеёнку и принялась черпать грязную воду из ванны, благо, что таскать никуда не нужно, лей прямо здесь, в сенках, в раковину, откуда она и стечёт в выгребную яму. И водопровод в дом, и слив, сделал ещё при жизни наш папа, и всё в нашем доме напоминает нам о нём.

После помывки, шей да каши гороховой у деда хорошее настроение, и он спрашивает нас:

– Ну, кто даст деду табачку понюхать?

Мы все трое с готовностью выставляем свои «петушки» вперёд, он берёт щепоткой Мишкины штанишки между ног, потом подносит щепоть к своему носу, нюхает и оглушительно чихает. Мы хохочем, а дед чихает раз за разом да приговаривает:

– Ох, и добрый табачок, крепок, крепок.

Мне обидно и я ору:

– Дед, у меня понюхай, у меня покрепче-то будет.

Мишка язвит:

– Конечно, у него крепче будет, он сегодня в постели напрудил.

Дед даёт Михеичу в лоб щелбана и берёт у меня тоже понюшку табачку, и опять громовое:

– Апчхи-апчхи.

Мы с братом-ябедой по полу катаемся от смеха, а глядя

на нас и младший, Валерка заливается хохотом, хотя пока мало чего понимает. Но детский смех это не слёзы, и у деда, глядя на нас, тоже глаза заблестели, а на суровом лице заиграла улыбка. Нам хорошо, деду хорошо, всем хорошо!

Слыша наш визг и хохот, в комнату влетает бабуля:

– Вот-вот, что старый, что малый, всё дети. Вот уж я вас веником-то и настегаяю, чтоб не озоровали.

Спасаясь от совсем не большого веника, мы с хохотом вылетаем в другую комнату, деду всё равно спать пора, устал ведь. В ночь ему опять в шахту спускаться, в забой. В углу нашей с дедом комнаты стояла его постель, нары, сколоченные им самим из толстых гладко строганных досок. Из-за больной спины он мог спать только на жёстком. На нарах лежит тюфячок, набитый сеном, засланный какой-то дерюжкой, поверх которой лежит старое солдатское одеяло. Дед, кряхтя и постанывая, ложится на своё лежбище, зевает широко раскрывая почти беззубый рот, вздыхает тяжело:

– Ох-хо-хо, грехи наши тяжкие...

Подбивает повыше под голову подушку, набитую валерианой и какими-то другими травами, от которых спишь как убитый, накрывается своим выдавшим виды одеялом, и через минуту храп деда уже сотрясает воздух спаленки. На полу комнаты тоже лежит духмяная трава, как на святой праздник троицу, оттого и запах стоит как на лугу.

Это бабуля постаралась, она всегда так делает, зная, что дед как старая шахтная кляча мало видит света, не видит

природы, не вдыхает запаха лугов, а как можно жить без всего этого? Работа – сон, сон – работа, вот и вся жизнь старого шахтёра. Дедка наш спит, но иногда храп прерывается, и тогда из-под одеяла раздаётся мощный залп из дедовской задницы, это щи из кислой капусты с горохом чего-то не поделили. Мы с братьевьями хохочем до коликов в животе, пока бабуля веником не выгоняет нас на улицу.

Дед казался нам великаном. И, казалось, не было силы, способной сломать нашего деда. После смерти папы он был хозяином в нашей семье, кормильцем и добытчиком. За ним мы были как за каменной стеной, а дед, сознавая это, молча тянул эту лямку из последних сил. И когда через три года после смерти папы, наша мама вышла замуж за фронтовика, майора в отставке, дед ушёл от нас. В семье не может быть двух хозяев, двух вожаков. Дед, желая счастья своей дочери, нашей маме, не стал отговаривать её от брака, хотя майор ему и не глянулся, как и нам, детям. Да и не смог бы он со своим крутым нравом ужиться с нашим отчимом.

Чтоб не слышать наших уговоров, отговоров, не видеть наших слёз и себе не рвать душу, дед ушёл поздним вечером, когда мы, набегавшись за день, уже спали без задних ног. Он ушёл к вдове, жене своего погибшего в шахте товарища. Пусто стало в доме без деда, мы с братишками часто сидели на его постели молча, не было желания играть, некого было встречать из шахты, открывать калитку, и даже дедовская жестяная ванна грустно ржавела на улице в напрасном

ожидании хозяина.

Скучая по деду, мы часто сбегали к нему, даже никого не предупредив дома, просто у нас это получалось нечаянно, потому что, где бы мы не бегали, всё равно, в конце концов, оказывались перед дедовской калиткой, за которой находился утопающий в зелени деревьев и красках цветов домик, разрисованный на стенах и ставнях окон какими-то чудными цветами и невиданными птицами. И всё это было похоже на рай. Дед оттаял душой, стал мягче, терпимее, стал чаще улыбаться. Такие перемены в его характере случились благодаря женскому влиянию нашей новой бабушки, нынешней жены деда, и дай бог хоть на старости лет ему испытать то, чего он был лишён многие годы. Его жена, наша родная бабушка, очень давно умерла, и мы её не помнили, потому что нас в ту пору ещё и на свете не было.

Дед суетится, он как всегда рад нам, это видно по нему, он гордится нами, своими «унуками», мужики растут, в нас он видит продолжение себя, продолжение рода, а это бальзам на его старое сердце. Мы стремились к деду и по другой причине: он всегда нам и свистулек наделает, и рогаток классных, и свинцовую битую отольёт для игры в «зоску», но главное – из старых корней зверушек диковинных вырежет, коней чудных нарежет, и, кажется, что вот-вот заржут, ударят копытами эти сказочные кони нашего детства. Жаль, что нет сейчас у детей таких игрушек, как нет и многого другого, что должно было бы быть в детстве у всех ребятишек.

Знали мы и то, что наша новая бабушка, дедова жена, всегда угостит нас вареньями, соленьями, сварит для нас сладкий компот, перед уходом домой насыплет в карманы жареных семок, сладких сухофруктов, а то и конфет «подушечек» да ещё каждому даст в руки узелки с пирожками, чтоб угостили друзей.

В саду нам позволялось рвать всё, что созрело и поспело, лазить на громадную вишню с толстеньким стволом и широкой, как крыша, кроной, под которой можно было даже и в прятки играть, Вишня была очень старой, но то, что поспевало на ней, было вкусней и слаще, чем на любой другой вишне. Она занимала много места, загораживая от солнца половину сада, и только ради нас дед не рубил её, а она, как бы предчувствуя свой конец, приносила сладчайшие ягоды и плакала всеми своими трещинками, деревянными морщинками, источая янтарную, клейкую смолу. А по весне она, словно не желая умирать, по-прежнему упорно, из года в год одевалась белым цветом, как молодая вишенка, только вот всё чаще белый цвет облетал до срока, и всё меньше становилось ягод. Она выжила в войну, но годы оказались сильнее её.

Иногда, набегавшись за день, мы с братьями как зверята засыпали на ещё тёплой земле, под каким-нибудь кустом или деревом, мы ладили с природой, мы были её частью. Дед отыскивал нас спящих и, не тревожа детский сон, переносил на веранду, укладывал на громадную старинную кро-

вать с панцирной сеткой и никелированными шарами, где мы продолжали дрыхнуть, укрытые цветным лоскутным одеялом.

На веранде, как и в комнатах, полы были застланы половичками, связанными из старых тряпок, на окнах висели кружевные занавески, на полу и на столах стояли какие-то вёдра, банки, лукошки с овощами, фруктами, ягодой. Пахло мёдом, какими-то травами, мятой, укропом, который пучками висел на стенах.

Там, на веранде жили и сверчки, которые по вечерам издавали концерты, распуская свои трели, а сквозь окошки, заросшие виноградом, словно чьи-то глаза светили, мерцали звёзды и светлячки, и не понять было, где есть кто или что.

Многое в нашем детстве, так или иначе, связано с дедом. Мы, пацаны, оставшись без отца, тянулись к нему, единственному мужчине в нашей семье, но так уж устроен человек, он не вечен. Пришла пора и нашему деду, его смерть была неожиданной и нелепой, и, как всегда, говорят в таких случаях, безвременной. Дед пошёл в гости к старому товарищу, тоже шахтёру фронтовику, посидели они, выпили, вспоминая свою нелёгкую жизнь, потом дед откланялся и двинулся домой. Напрасно его жена глядела на дорогу, не пришёл дед, не дошёл. Утром шахтёры, идущие на смену, нашли его, лежащего рядом с тропинкой, припорошенного первым снегом. Лицо деда было спокойно, он будто спал, но снежинки на его щеках не таяли, он уснул на веки, а мы с той поры

осиротели ещё больше.

Мы едем на целину

Время не стоит на месте, оно идёт, летит, а мы дети растём, взрослеем. В нашей семье пополнение, нас, «короедов», уже пятеро. Родился ещё братишка, Толька, а вскоре и сестрёнка Наталья, это было, конечно, хорошо, но больно хлопотно, нам ведь старшим с ними нянькаться нужно, и никуда от этого не деться. В 1959 году мама с отчимом продали наш отчий дом, и в поисках лучшей доли мы всем табором двинулись в Казахстан на целину.

Прощай Украина, прощай родной дом, наш сад, улица, прощайте друзья детства, с которыми мы дружили, с которыми росли. Прощайте сады и деревья, прощай и пруд с лягушками, в котором мы купались, прощай и небо, такое голубое, прощайте и простите нас, мы уезжаем. К дому подъезжает весь израненный, будто только что вернувшийся с фронта грузовичок, это и есть знаменитая, прошедшая всю войну полуторка. Взрослые грузят в кузов большие фанерные чемоданы, какие-то узлы, сумки, мешки. Бабушка, совсем потеряв в той суматохе голову, требует взять с собой и Игнатову ванну, она, кажется, совсем забыла, что дедушка давно в могиле, а ванна проржавела насквозь. Мама с тёткой кое-как успокаивают бабулю и запихивают в кабину полуторки.

Возле машины толпятся соседи, это в основном женщины, все обнимаются, плачут, суют какие-то узелки с гостин-

цами и даже дают деньги. После войны с нашей улицы никто и никогда не уезжал так далеко и навсегда, и люди не понимали, как можно в мирное время, бросив всё, куда-то ехать. Ведь здесь наша Родина, война окончена, мирное, прекрасное время, живи да живи. Молись за погибших, радуйся за живых, а такой жизни, именно этой, нашей послевоенной, народ и до войны не знал. После смерти Сталина и ареста Берии в людях наконец-то пропал страх, осталось только самое прекрасное чувство безопасности, надежды и уверенности в завтрашнем дне. Мы, дети тоже не понимаем этого, нам вся эта суматоха кажется просто игрой, кажется, что мы на зависть всей уличной детворе просто прокатимся с шиком, поднимая шлейф пыли, а потом опять выгрузим наши пожитки, и жизнь опять пойдёт своим чередом.

Конечно, этого не случилось, полуторка бибикнув простуженным фронтовым сигналом, тронулась с места, бабы дружно взвыли будто по покойнику, пацаны тоже заорали, засвистели, махая руками, прощаясь с нами, мы в ответ тоже что-то кричали, шмыгая носами и не замечая своих невольных слёз. Мальчишки бежали за машиной, мы знали, что они нам завидуют, потому и гордились, восседая на чемоданах, а наши карманы и пазухи были набиты прощальными рогаткам, битами, винтовочными патронами и прочими ценными вещами.

Мы, дети, тогда ещё не знали, не хотели и не могли понять, что просто так с родного места не срываются, даже на вре-

мя, каким коротким оно не было. Уезжают, навсегда обрубая родные корни, в поисках лучшей доли. Но кто укажет тот путь, то место, где пока «без нас лучше», а с нами почему-то там должно стать совсем хорошо?

Ехать на машине, в кузове, на самом верху – это ли не мечта каждого пацана, ветерок давно высушил наши совсем не горестные слёзы. Мы глазеем на новый мир, которого ещё не видели, старое авто едва ползёт, но нам кажется, что мы летим по воздуху, аж дух захватывает. Вот и вокзал, а вот показался и наш поезд, который унесёт нас в целинные дали. Мы как цыгане, с узлами, кучей детишек, с криками и плачем проталкиваемся в общий вагон, кого-то там уговариваем, тесним и занимаем места. Нас – девять человек, самая старая – бабуля, ей 103 года, а самая молодая – Наталья, ей всего три месяца.

Раздался сигнал рожка дежурного по вокзалу, ему ответил гудок паровоза, залязгали буфера вагонов, состав задёргался, а потом плавно, всё набирая ход, покатился по рельсам. Самое клёвое место, конечно, на верхней полке, и я, оттолкнув братьев, чёртиком взлетаю на неё, фрамуга окна открыта, в неё порывами ветра заносит клубы дыма и сажу, мне это нравится, я лежу на пузе, глазею на пробегающие дома, дороги, переезды, посёлки. Иногда пролетает встречный, грохот колёс врывается в наш вагон вместе с дымом, гарью и пылью.

Я не заметил, как уснул на голой полке, подложив под го-

лову кулак. Поезд шёл, где-то останавливался, опять трогался, дёргаясь и гремя буферами, ничего этого я не слышал, я спал сладким сном, как могут спать только уставшие дети.

Пока поезд дёргался, меня постепенно тащило к краю полки, тут и случилось то, что и должно было случиться: я, спящий, пикирую вниз, на колени сидящих, мамы и тётки. Лицо у меня всё в саже и пыли, бабуля испугано крестится, мама начинает вытирать мне лицо, а тётка, как всегда, хохочет:

– Арапчонка нам подбросили в окно, давай, Зин, обратно его выкинем, наши-то все чистенькие.

Испугавшись, я ору во всё горло:

– Это я, Вовка, вы чо, совсем одурели, ребёнками разбрасываться?

Мама с бабушкой меня успокаивают, а тётка ещё пуще хочет, ну прямо дурочка какая-то.

Пока я спал, во сне проголодался, а братья мои поумней меня оказались, всласть насиделись у окошек, насмотрелись, потом наелись от пуза домашними припасами, а уж потом и завалились. Ну да ничего, у меня и одного аппетит не пропадёт, зато всё, что на столе, всё моё, и никто ничего из-под рук не утащит. В поезде интересно и нескучно, в тамбуре, где мужики курят, грохот стоит, а между вагонами площадки постоянно поднимаются, опускаются, ходят из стороны в сторону, с визгом трутся друг о друга, страшненько. В туалете, когда нажмёшь педаль, видны убегающие шпалы, это

тоже очень интересно, но долго не поиграешь, тут же кто-то постучит в дверь.

Через несколько суток доезжаем до крупной, по тогдашним меркам, станции, мама сказала, что это «Акмолинск», «Акмола», это переводится, как белая могила, потом он станет Целиноградом, а после Астаной, новой столицей Казахстана. Вначале столицей была Алма-Ата, в переводе – «отец яблок»: «Ата» – отец, «Алма» – яблоко. Уже взрослым мне пришлось бывать там – очень красивый и неповторимый город.

После пересадки в Акмоле, мытарств с багажом по перронам, через рельсы рвёмся к нашему новому поезду. И опять всё по новой: посадка, размещение, уговоры попутчиков перейти на другие места, чтоб нам всем быть вместе. Казахи не понимают, не хотят понимать, и нам приходится устраиваться по всему вагону.

Худо-бедно, но добрались мы до Кокчетава (Кокшетау), где нас ожидал отчим с бортовым Газиком. Опять выгрузка наших пожитков, погрузка на грузовик и в путь. Дальше нам нужно было ехать двести км до районного центра Рузаевка, а потом и ещё дальше по степи, в совхоз «Ломоносовский». Это и было то место, куда мы стремились, и где нам предстояло жить.

Новое место, новый мир

Хотя мы и ехали на целину, в степи ковыльные, но, ни палаток, ни бараков уже не застали, всё было поднято, вспахано, и прибыли мы не на пустое место. В степи были построены домики, школа-интернат, баня, электростанция, мастерские для ремонта сельхозтехники, был даже разбит сквер с пока ещё молодыми деревцами. Совхоз стоял почти на берегу реки Ишим, но были ещё и два искусственных озера, в которых запустили мальков карася.

Нам, пацанам, о такой благодати раньше и не мечталось, нам нравилось всё: и степь до горизонта с волнами ковыль-травы, и стоящими у своих норок, как столбики, сурками и сусликами, озёра с серебристыми карасями, но особенно река Ишим с кристально чистой водой, зарослями камыша, жёлтыми кувшинками и белыми водяными лилиями с алмазными капельками утренней росы на лепестках.

Вся совхозная ребятня с утра до темноты пропадала на реке, и всё самое главное в нашей жизни происходило здесь. Здесь мы дрались и мирились, здесь мы купались и загорали, рыбачили и, переплыв Ишим, воровали в огородной бригаде ранние овощи. Очень быстро мы со всеми подружились, освоились, и нам уже казалось, что так было всегда, что мы всегда здесь жили, а Украина, наш дом, сад, друзья того детства – всё это, конечно, не забылось, но вспоминалось всё

реже и реже.

Первое лето на целине пролетело как миг. Осенью мы, как и все дети, пошли в школу: брат Мишка в пятый класс, я – в четвёртый, а Валерка – в первый. Старая школа-семи-летка представляла собой унылый барак, слеplенный из самана с узким коридором, тесными классами и маленькими окнами. Это, конечно, был большой контраст по сравнению с совхозной, новой школой-интернатом, в которой было всё, где было светло и просторно, где работали все кружки, где был даже громадный спортзал и работали спортивные секции, и это было чудо.

Зимой мы узнали, что такое казахстанские морозы, степные снежные бураны. Иногда во время бурана посёлок заносило снегом, и лишь печные трубы, пуская дымок, торчали из сугробов, тогда нам приходилось откапываться с помощью соседей, у которых был выход на чердак через потолок в сенях. Для нас, пацанов, любая зима была в радость: лыжи, санки, коньки и вперёд на берег Ишима. Там, где был чистый от снега лёд, мы катались на коньках, а при сильном ветре, расставив пошире полы пальтишек, летали птицами, и это был высший пилотаж и наслаждение скоростью. Коньки мы прикручивали верёвками к валенкам намертво, другой раз и помочишься на скрутки, чтоб пуше держали. Река для нас была всем: мы тонули, калечились и убивались, срываясь с береговых скал, но, приводя в ужас своих родителей, опять лезли на кручу, чтоб взлететь ласточкой и ныр-

нуть в прозрачную воду, ещё раз испытав миг полёта.

Прошла наша первая целинная зима, весной мы в первый раз в жизни наблюдали ледоход на реке, а мальчишки постарше катались на льдинах, с шиком прыгая по ним. Иногда эти забавы оканчивались ледяной ванной, но и это не беда, ведь на берегу, млея на весеннем солнышке, кучкуются девчонки, а ради них ещё и не то сделаешь, поверьте мне на слово.

Этой же весной мы купили саманный домик на берегу Ишима, наша улица вдоль реки так и называлась, «Речная». Теперь нам вообще стало хорошо, пробежал по огороду и вот он, Ишим. По весне старший наш братан, Михеич, затеял постройку речного линкора, это была первая в нашей жизни лодка, и которую мы, конечно, назвали «Чайка». Она явно не блистала благородством и изяществом обводов яхты, но она была первой в нашей жизни, она была нашей.

Этой же весной в свои немалые 104 года умерла прабабушка, мы её любили старенькую, но уже знали, что она будет с нами не всегда, мы давно поняли, что человек смертен, ведь от нас уже ушли папа, сестра Неля, дедушка. Неизбежность смерти мы понимали умом, но не сердцем, ведь это было так несправедливо и горько.

Хозяйство. Переехав в своё саманное, довольно пожилое, но для нас новое жилище, мы постепенно обзавелись всякой домашней живностью. У нас теперь была кормилица и мамина любимица, корова Майка, мой любимчик, бычок Борь-

ка, всеми весьма уважаемая, многодетная хрюшка Машка и множество курей, гусей уток. В то время люди в совхозе жили как кулаки, и каждая семья держала скота столько, сколько было рабочих рук, ведь большое хозяйство это не только мясо, яйца, молоко, но это и навоз, который нужно было убирать каждый день. Каждый день всю эту мычащую, хрюкающую, кудахтающую и гогочущую ораву нужно было кормить, поить стелить свежую подстилку, ведь даже свинья не может спать в своём дерме, не говоря уж об светской даме, корове, в общем, забот и хлопот полон рот.

Когда вечером мама заносит в дом ведро парного молока, кладет на стол круглый каравай домашнего хлеба и зовёт всех за стол, братан Мишка презрительно хмыкает, берёт большую краюху хлеба, круто посыпает солью, берёт большую эмалированную кружку и идёт в сарай к Майке. Он угощает Майку хлебом, разговаривает с ней, чистит скребком, гладит, потом садится под корову, и вот оно, настоящее парное молоко. Мой старший брат Михеич признаёт только это, а не то, что уже процежено и перелито из посуды в посуду. Отдав последнее молоко, Майка облегчёно вздыхает, теперь ей можно и прилечь на свежую подстилку из золотистой соломы, щедро наваленной братом. Он ещё не забыл положить в ясли и охапку свежего, пахнущего степью сена. Рано утром, после дойки Майке опять идти в стадо на пастбище, а пока она, отдыхая, нежится, жуя свою жвачку, задумчиво смотря в одну и ту же точку, думая одну и ту же коровью думку.

Не так давно я получил от отчима оплеуху, это было не так больно, как обидно, ведь я заступился за нашу свинью Машку, на которую зачем-то прыгал чужой боров, которого привёл чужой дяденька. Они сначала вроде играли, но потом тот хряк стал вставлять Машке под хвостик свой «буравчик», я подумал, что ей должно быть очень больно, поэтому взяв хороший дрын, я стал охаживать чужака по толстой заднице, тут мне и прилетела, как я думал, незаслуженная затрещина. Я, конечно, в рёв, но сквозь слёзы пообещал, когда вырасту, и его отлупить той же палкой, ладно, что мама, вечная миротворица, оказалась рядом: одного отругала, другого пожалела и успокоила, только вот тётка чуть не описалась со смеху, она всегда так.

Отчим с хозяином породистого производителя сидели за столом и «обмывали» небезгрешное зачатие, случку, когда увидели в оконце избиение поросячьего жениха, разгон поросячьей свадьбы на самом пике процесса, тут вот мне и влетело по полной программе. Мой подвиг обошёлся отчиму в лишнюю бутылку водки и лишний час ожидания повтора «акта». Машка в положенный природой срок принесла аж двенадцать хорошеньких сосунков, но, блин, куда их столько? Да и как потом прокормить такую ораву?

Когда мама выходит во двор кормить нашу живность, во дворе начинается светопреставление: кудахтанье, гогот, хрюканье, мычание – все спешат к своей главной хозяйке и кормилице, а голуби садятся к ней на плечи и даже на голо-

ву. Мама со всеми поговорит, всех приласкает, всех накормит, она и для них мама, не только для нас.

Летом мы, ребятня, обычно спим на чердаке, но если позволяет погода, на сеновале, где отпросившись у мам, ребята собирались по пол-улицы. Мы рассказывали друг другу услышанные когда-то от бабушки страшилки, в силу своей фантазии придумывали новые, и даже иногда, нагнав на себя страху, улепётывали в избу под крыло мамы. Но чаще всего, лёжа на душистом сене, мы смотрели в ночное бездонное небо, на звёзды, стараясь мысленно проникнуть в глубины космоса, как он страшен и притягателен. Глядя в ту бесконечность, мы приходили в ужас от того, что никогда не сможем до конца понять непостижимое, ведь мы не просто песчинки во Вселенной, мы – пыль, мы – атомы, пусть даже и очень нужные в системе мироздания.

В нашей жизни чёрная полоса

Внезапно для нас всех посадили отчима, ему дали восемь лет общего режима с полной конфискацией имущества. Его попросту подставили, назначили виноватым, а уж наш советский, скорый и правый суд на срок не поспешил, отстегнул по полной программе, он ведь был ещё и самый гуманный суд в мире. У нас забрали весь скот, барахлишко кое-какое было, забрали всё, что могло представлять хоть какую-нибудь ценность. Оставили старьё, маленько посуды и то, что на нас было. С этого момента у нас началась совершенно другая жизнь, многие отвернулись от нас, и если и не стали нам врагами, то и в друзьях уже не числились.

Надо сказать, что отчим работал главным энергетиком совхоза, принадлежал к элите, к совхозной интеллигенции, и наша семья была уважаема. И когда всё это в раз кончилось, те, кто когда-то завидовал нам, теперь злорадничали, те, кто когда-то льстил, подленько хихикали и потирали потные ручонки. Надо отдать должное простым людям, они не изменили по отношению к нам своего доброго расположения, они сочувствовали нам и помогали, как могли и чем могли. Да и мальчишки, наши друзья, тактично ни о чём не спрашивали и вели себя так, будто ничего не произошло.

Нас у мамы на руках было пятеро, и на её зарплату

в шестьдесят целковых было не прожить. Наша хохотунья, тётка Люда вышла замуж и жила отдельно от нас, и помочь она уже не могла: от своей семьи тоже много не отдашь. После пятого класса я пошёл работать, меня взяли в мастерские учеником токаря, брат Мишка после шестого класса тоже устроился, но учеником электрика. По малолетству нас не хотели брать, но мама уговорила директора совхоза и тот, войдя в наше положение, дал добро на временное трудоустройство.

Так вот я и стал постигать основы токарного дела, курить, не по-детски материться, пить ядреную брагу, бить в морду, никого и ничего не бояться и не признавать. И это была уже другая школа. Отработав месяц, я ждал первой в своей жизни зарплаты, это были двадцать четыре рубля ученических. Стоя в длиннющей очереди механизаторов, работяг, я гордился своей причастностью к этому клану чумазых, сильных и очень шумных людей. Я думал о том, как придя домой, я молча положу деньги на край стола и только потом пойду мыть руки, как когда-то мой дед, как любой мужик и добытчик. Я думал о том, что куплю маме новую косынку, старая вон совсем выцвела, думал о том, что куплю Наташке с Толиком конфет, и не каких-то слипшихся подушечек, а вкуснющего, разноцветного горошка, ведь я старший брат и уже работаю. Брат Мишка в это время был где-то на полевом стане, и я думал, что, может быть, и за него дадут зарплату.

Подходит моя очередь, я в который раз тру руки об штаны,

чтоб ненароком не испачкать ведомость, а кассирша и говорит мне: «За тебя и за твоего брата ваша мама давно получила». Это было для меня как кувалдой по голове, я был так ошарашен, что не смог от стыда и обиды даже зареветь, слёзы лишь выступили на глазах.

Ведь могла мама сказать нам с братом, что наши первые в жизни деньги, она получила без нас, это было так нечестно. Просидев на берегу Ишима дотемна, я вернулся домой и, не говоря никому ни слова, завалился на кровать и укрылся с головой.

Ничего не добившись от меня, мама всё же поняла причину моей обиды, она заплакала, и теперь уже я жалел и утешал её. Мы вместе немножко поревели, ничего не понявшие младшие тоже присоединились к нам, получился хор рёвущек, и всем после этого стало легче. Потом мама сказала: «Если вы у меня уже такие самостоятельные, то зарплату должны получать сами, так и порешили.

Я отработал три месяца и уже готовился к сдаче на разряд, когда меня затянуло в станок. Из-за своего пацанского роста мне не было видно заготовку в патроне, и я, чтоб видеть, прислонился к вращающемуся ходовому валику, меня ухватило за длинную полу рубашки, под которой был ещё и свитер. Всё случилось мгновенно, я только успел пискнуть: «Ой, мля», как меня за горло уже подтянуло к валику рядом с суппортом. Свитер, не желая рваться на моей тощей шее, всё ту же сдавливал мне горло, я уже хрипел, правое плечо

было вывернуто назад, и тут станок выключился.

Парень Мишка, сын кузнеца, который работал за соседним станком, чудом услышал моё «ой, мля», остановил станок, дал обратный ход и размотал меня и то, что осталось от одежды с валика. Он успел вовремя, не зря мой наставник, идя в инструменталку, попросил его приглядеть за мной. Больше всего я боялся, что меня не допустят к сдаче экзамена на разряд, а то и вообще выгонят с работы, поэтому, даже почти теряя сознание, я хорохорился, говорил подбежавшему мастеру, что это всё мелочи, что мне совсем не больно, что всё у меня нештук, только вот мне нужно сбегать домой переодеться.

Мужики, глядя на меня почти голого, с ободранной спиной, с висящей плетью рукой, качали головами и были очень серьёзны. Меня насильно посадили в коляску мотоцикла и увезли домой, потому что от больницы я категорически отказался. Мама поначалу ни о чём не знала и не догадывалась, но в совхозе, как и в любой деревеньке, трудно было что-то утаить, и вот уже на следующий день она, бросив работу, летит домой вся в слезах и, голося так, будто видит меня в гробу и белых тапочках.

Со временем всё проходит, прошли и мои невзгоды: рука, плечо, спина, всё зажило, как на молодом волчонке, я сдал на третий разряд и приносил домой почти сто рублей. Благодаря горькому опыту я стал гораздо осторожней и знал, что если что-то со мной случится, семье без меня будет

очень трудно, ведь брата Мишку совхоз отправил в училище, учиться на электрика, третьего братишку, Валерку пришлось определить в школу-интернат на полное гособеспечение. Там он по любому будет одет, обут и сыт, и нам за него спокойней будет. Ну а самых мелких, Толика с Натальей, мы с мамой уж как-нибудь прокормим, подыдем и поставим на ноги.

Я проработал с лета и до нового года, когда школьное начальство, спохватившись, опять не отправило меня в школу, в шестой класс. Как ни странно, но учебный год я окончил вполне прилично, хотя в отличие от многих детей ходил в школу в рыжем старом ватнике, именуемом «фуфайкой», и кирзовых сапогах с тетрадкой для всех предметов за голенищем.

Если я и учился более-менее прилично, то моё поведение было, как говорят, ниже плинтуса и оставляло желать лучшего. Я мог спокойно встать посреди урока и направиться к дверям, а если учительница спрашивала, куда я, спокойно отвечал, что иду покурить. Меня вызвали с мамой на педсовет, где и сообщили, что у меня нет совести, что такие, как я развалили некогда прекрасную школу, что другие пацаны, глядя на меня, теперь ходят вразвалку, как я, слова cedят сквозь зубы, бьют друг другу морды, уходят с уроков, ну и т. д.

Справедливые упрёки учителей меня мало трогали, но мамины слёзы я не мог себе простить и твёрдо встал

на трудный путь исправления. Исправляться всегда труднее, это как будто ты серьёзно заболел, а потом вдруг стал медленно и тяжело выздоравливать. Помогла мне в этом моя первая любовь, девочка Люся, от неё я тоже получил ультиматум – или я стану опять нормальным, и мы будем по-прежнему дружить, или остаюсь приклатнённым дураком и забываю даже, как её звать. Ей и невдомёк было, что это я из-за неё и ради неё ухорезил и хулиганил и, что именно ей я посвятил эти строки:

Ты для меня, как роса на листе,
Ты – дождевка моя на хрустальном стекле.
Я с тобою сольюсь, я в тебе растворюсь,
Станем каплей с тобой лишь одной, лишь одной.

Увы, не суждено было быть нам вместе, а детские мечты стали воспоминаниями. Как бы то ни было, но шестой класс я окончил без троек, несмотря даже на то, что вернулся в школу после нового года. Усмирила меня Люся, успокоила, а я рад был и даже временами счастлив.

Время шло, я повзрослел, также работал, в меру хулиганил, помогал маме, чем и как мог. Всё шло вроде бы хорошо, но мне стало тесно в нашем посёлке: я с детства запоем читал книги о путешествиях, дальних странах, больших городах, о морях и океанах. Однажды запавшая мысль об отъезде не давала мне покоя, я спал и грезил наяву, это стало для меня навязчивой идеей и чуть ли – не параной-

ей. Мне снились парусники Станюковича, тропические острова, О*Генри, пятнадцать томов Джека Лондона я зачитал до дыр, Жюль Верн, Герберт Уэллс, Беляев, и многие другие. Книги доводили меня почти до сумасшествия, они из друзей стали превращаться во врагов, такого потока информации, моя бедная голова не могла усвоить, нужна была перемена не только образа жизни, но и мышления. Мне срочно нужно было посмотреть на мир своими, но уже другими глазами. Мама с тревогой наблюдала за моими терзаниями и однажды объявила мне то, о чём я не решался ей сказать сам: «Ладно уж, сынок, не мучайся, лети, ищи свою дорогу и судьбу». Это и было материнское благословение.

Не выпорхнув из гнезда, летать не научишься

Когда мне исполнилось шестнадцать лет, я, получив паспорт, решил, что мне пора начать самостоятельную жизнь, и с этого момента у меня и началась совершенно другая до сих пор незнакомая мне жизнь, было в той новой жизни интересно и скучно, весело и грустно, страшно и больно, но всё это и было, тем, что мы называем жизнью, обо всём этом и пойдёт дальше речь.

Был у меня верный друг и союзник, Вовка Тонышев, он был на год старше меня, и мне не составило особого труда уговорить его на новую, неизвестную пока жизнь. Его маман препятствий чинить не стала и с лёгкой душой и материнским благословением выпроводила сына искать свою судьбу и места под солнцем, впрочем, как и моя же. Мир большой, но мы поехали в город Павлодар, где в то время находился мой отчим, освободившийся по УДО, и было много строительства как промышленного, так и жилого фонда со всей инфраструктурой. Да, работы было много, но двух деревенских пацанов 16 и 17 лет на работу брать никто не желал – своих городских малолеток из бедных семей, да и просто не желавших постигать науки за партой, было немало.

Заключение как метод воспитания?

Отчим ничем нам помочь не мог, да и не хотел, ему тоже лишняя обуза была ни к чему, и он надеялся, что мы, потолкавшись в поисках работы, свалим домой, в свой родной совхоз, где у нас был и кров, и работа. Но не затем мы ехали в город, чтоб так быстро сдать ся и поднять кверху лапки. Первое время мы жили в эковском городке, который именовался «Административным». Здесь под зорким и всевидящим оком спецкомендатуры проживали в бараках несколько сотен или даже тысяч якобы вставших на твёрдый путь исправления, «химиков».

Многие из них честно работали, а выбив у коменданта комнатуху, привозили свои семьи, это в основном были рабобяги, иной раз и сами не понявшие, как и за что попали на зону. Были и жёсткие, почти молодые парни, оттянувшие свои срока ни за что, их в своё время, то, что называется «подставили», назначили виноватыми. Эти не блатовали, по «Фене» не ботали, никаких наколок у них не было, и хотя в это трудно было поверить, отмотали приличные срока. С ними урки, воры и всякая лагерная шпана боялись связываться, хотя они вели себя спокойно, не пили, в отличие от многих, не бузили, разборок не устраивали. Я знал их истинные цели, хотя они не откровенничали ни с кем, никому не доверяли и никому не верили, но я жил с ними и поневоле становился свидетелем их разговоров и дальнейших планов. Они жили мечтой о мести, мести за годы, проведенные в неволе, мести за предательство.

Многие из освободившихся якобы «исправившихся» зеков как воровали, так и воруют, промышляют на вокзале, в магазинах, в транспорте, а наоборот, обчистить пьяного мужика, так это раз плюнуть. Нас с тёзкой тоже пытались приучить, вернее, научить лёгкому способу добывания денег и пропитания, но нам, деревенским, не то, что воровать, мы даже есть не могли, если знали, что это сворованное у кого-то. Анаша и карточная игра среди зеков были в порядке вещей, а начальство из комендатуры, прекрасно зная об этом, считало меньшим из зол и хотя, конечно, не приветствовало, но особо и не препятствовало, оно имело в этом и свой интерес. Хорошо жить всем хотелось: и вору, и его начальнику.

Иногда, обкурившись или просто по пьянке, «химики», вспомнив какие-то ещё лагерные обиды или карточные долги хватались за ножи. Тогда доставалось и правым, и виноватым, а зачинщиков тогда, как правило, добавив срок, опять отправляли на зону. Контингент «химиков» постоянно менялся: кто-то уходил на свободу подчистую, кто-то начинал мотать свой срок по новой, но уже с довеском, ну а кого-то отправляли на свободу и в «деревянном бушлате», этим не повезло больше всех.

С трудом я устроился в СМУ, учеником бетонщика, аж по первому разряду, видно, что таскать и кидать бетон, очень тонкая наука, постичь которую можно только через работу первого разряда. Девиз карьериста-бетонщика: «Бери боль-

ше, кидай дальше, отдыхай, пока летит» и так всю смену.

Жить меня устроили в нормальную городскую общагу строителей, где мне сразу предложили «косячок» анаши и перекусить. От первого я сразу отказался, хотя до этого уже не раз пробовал поймать кайф таким образом, а вот попить чайку с какими-то черствыми булочками из буфета я с удовольствием согласился. В зэковский городок я больше не ездил, мой друг и тёзка, плюнув на всё, давно уехал домой и правильно сделал.

Весь ужас этой тяжёлой, но «благородной» каторги, был в том, что меня определили в женскую бригаду, где бугром был мужик, и как я тогда считал, большой развратник. Он в женской бригаде был, как медведь в малиннике, а вот мне малолетке приходилось совсем не сладко. Они все были остры на язык и совершенно бессовестны, они могли, не обращая на меня никакого внимания, часами обсуждать сексуальные возможности какого-то Васи, величину члена Пети и сколько раз за ночь способен совершить половой акт тот или другой Гриша.

Молодые девахи курили почти все, иногда во время перекура какая-нибудь из них, желая развлечь подруг, вываливала из лифчика грудь и просила томным голосом: «Малолетка, ну-ка взгляни мне под титю, у меня там вроде прыщик вскочил?». Я, конечно, бледнел, краснел, меня кидало в пот, а девок, глядя на меня, одолевал смех. Они вытворяли при мне всё, что им заблагорассудится, могли, ничуть не стесня-

ясь, присесть справить лёгкую нужду, но пределом издевательств стало то, что эти здоровые, молодые тёлки однажды неожиданно навалились на меня, уселись толстыми задницами на руки и ноги и стали расстёгивать на мне брюки с целью проверки величины моего «хозяйства», и это было всё, это был такой позор, которого я не мог пережить.

Пожилые бабы, которые тоже были в бригаде, видя моё состояние, стали отгонять придурочных, стыдить, но от них был только возбуждённый смех, они поймали кайф, и, видимо, решили идти до конца. Бригадир, сволочь, глядя на эти издевательства, только хихикал да хватал возбужденных девах за всё, что только можно.

Я не помню, как вырвался, как в моих руках оказалась тяжёлая совковая лопата, но они рассыпались горохом во все стороны, я только одной, самой наглой, и успел врезать по плечу, хотя метил в голову, я промазал, о чём очень жалею и сейчас. Унижение, страшное унижение, которого я и во всей своей дальнейшей жизни не испытывал.

С объекта я сразу заехал в контору, написал заявление на увольнение и лишь потом поехал в общагу. И в автобусе, и в общаге я не мог никому смотреть в глаза, мне казалось, что весь город знает о моём позоре. А вечером ко мне приехала целая делегация с вином, тортом – цветов, блин, ещё не хватало. Они были все празднично одеты, и если б не их шершавые от бетона ладони, никто не сказал бы, что эти крали, обыкновенные бетонщицы, которые матерятся как пор-

товые грузчики, пьют водку стаканами и не морщатся. Здесь вот они сидят, стесняясь и натягивая на коленки короткие юбочки, а на работе могут без малейшего стеснения заголиться по самое не хочу или так покрыть матом, что мало никому не покажется.

Девки извинялись и просили остаться в бригаде, обещали, что и работать мы все будем по одному разряду, мол, мы все видели, как ты стараешься, как пашешь. Но, остаться в бригаде, где тебя так оскорбили, я не мог ни за какие блага в мире, я смотреть на них не мог и встав, молча открыл дверь и показал дорогу, они вылетели как пули очередью. Оставленные на столе подарки я выкинул им под ноги со своего третьего этажа.

С общаги меня не гнали, и я, получив расчёт, некоторое время ездил на алюминиевый завод разгружать вагоны, здесь никто не спрашивал о возрасте, никто не издевался, здесь все пахали как черти. Между делом продолжал искать работу, но шестнадцатилетнего подростка, да ещё без прописки, никто не хотел брать даже учеником. На мои доводы, что я токарь четвёртого разряда и у меня есть об этом документ, в кадрах только смеялись: «Что может точить паренёк из какого-то совхоза», «а у нас завод», «а у нас одни печи да доки», ну и т. д.

Дело шло к зиме, перспектив у меня никаких не было, и я решил опять ехать в родной совхоз, где меня поймут и примут. Я не считал, что проиграл, ведь проигранное сражение –

это ещё не проигранная война, я заработал первые шишки, получил первый жизненный урок и сделал для себя кое-какие выводы.

Собираясь домой я почти все деньги потратил на подарки родным, а на оставшиеся приобрёл чудный форсистый, переливающийся всеми цветами радуги, пиджак «хамелеон», огненно-красную спортивную замшевую сумку со многими карманами, и журнал с полуголыми красотками, который наполовину торчал из одного кармана. В общем, первый парень на деревне, и этого в моих глазах было не отнять. На еду денег у меня уже не было, ехал голодный, мечтая о тарелке огненных щей, с огромным куском мяса и о большом блюде, полном аж горкой горячими пирожками с картошкой.

По улице мела метель, сквозь которую была видна фигурка мамы, она стояла, почти повиснув на калитке и смотря сквозь метель в мою сторону. Как обычно, она была одета в телогрейку, валенки и тёплый шерстяной платок, а я, увидев себя со стороны такого нарядного, от стыда был готов провалиться сквозь землю. А о том, что у меня дырявые, полные снега туфли и непокрытая, с лохмами волос, набитых снегом, голова, я как-то забыл. Почти подбежав к маме, я обнял её и поцеловал в ледяную от мороза щеку: «Привет, мам, я вернулся».

Мама буднично, будто я никуда и не уезжал, говорит:
– Пойдём, сынок, там щи, поди, остыли, да и пироги твои любимые «мелкота» съест все.

– Да ради бога, мама, главное – я дома.

Уже потом младшие сказали мне, что мама уже дня три, управившись по хозяйству, становилась на свой пост у калитки и всем говорила: «Вовика жду», «Вовик должен приехать», и материнское сердце не обмануло её.

Догнать и перегнать Америку

Так приказал Никита Сергеевич Хрущёв, и партия.

О целине написано много, но в основном теми партийными работниками кто бывал там наездами и видел только то что ему или им показывали, а то и вообще только по наслышке, и по отчётам других партийных боссов рангом пониже. Приезжими партийцами вручались знамёна, флажки и вымпелы, потом их угощали кумысом и бешбармаком с бурсаками, и они отбывали в родные пенаты, то бишь Кремли, получать медали за освоение целины и писать мемуары о своём целинном героическом труде, как крупной вехе в своей многотрудной партийной работе в первых рядах строителей коммунизма и всего нашего светлого будущего.

Ну как после этого отказать ему в ордене или на худой конец в медальке. И как пел Сталину после победы, народный казахский акын Джамбул: – «Орден дай, орден дай, орден нету, медаль дай» Так и наши партийцы зарабатывали авторитет и ордена. Впрочем такая же картина была и на всех великих стройках века нашей страны, только вот все эти стройки стоят на костях рабочих, по чьим могилкам уже прошёлся нож бульдозера круша почти свежие людские кости, и готовя площадку под постройку нового дома, для новых кандидатов в покойники. И только потревоженный прах туманным фантомом будет иногда наводить ужас на жильцов дома

на бывшем погосте.

Это было небольшое вступление, так сказать, о «погоде» т.е, о жизни в том далёком времени. В нашем целинном совхозе было Вавилонское столпотворение, народу понаехало со всех концов страны, люди в надежде на лучшую долю, бросали родные места, и как мы же, подавались на целину.

Но, о каждом «племени» и народе, нужно говорить по отдельности. В первую очередь это конечно хохлы, из колхоза «Червонэ дышло» «забивать» тёплые места, новые квартиры и лучшую технику они приехали первыми, и уже успели обзавестись капитальными домами, и громадными хозяйствами, и обширными огородами, это трудяги, но за свою копейку пасть порвут любому.

Почти вместе с ними прибывали из бедных Белорусских деревенок, колхозники из хозяйства «Сорок лет без урожая,» годами не видевшие зараз больше трёх рублей, и выживавших только за счёт личных хозяйств, и что где украдёт. Правда многих из них, более энергичных, месяцами носило по другим более богатым областям по шабашкам, хочешь жить, умей вертеться. (а не прыгать, как сейчас хохлы на майдане) С этими можно было жить, и как-то общаться и дружить.

Студенты стройотрядов

С Москвичами мы пацаны не дружили, они даже между собой постоянно ругались и выясняли отношения, а некото-

рых из своих же они презрительно обзывали «лимитой», что это такое, мы не знали, но когда они нас стали называть «абригенами», мы вообще перестали к ним ходить. Так что для них, прощай парное молоко, свежий домашний хлеб, и сало с чесночком, укропчиком и с широкими такими вкусными прослойками, и всё то что мы по доброте душевной принесли им из дома.

Ленинградцы, вот это человеки, всегда приветливы, всегда угостят чем ни будь вкусеньким, а вечером уступят место у костра, послушать студенческие песни про своих «преподов», про Бригантину, капитанов и корсаров, и уже здесь сочиненную ими шуточную песенку про колхозную чувиху; – ты в сарае сидишь, юбка с разрезом, и корову доишь с хвостом облезлым. Твой дед стал стильным чуваком, жуёт резину, тянет крепкий коктейль сквозь соломину.

Мы мальчишки укатывались со смеху, но иногда мы говорили с ними и на серьёзные темы, они показывали нам на тёмном небе яркие будто умытые звёзды, называли их по именам, и пытались объяснить что наше небо нигде не кончается, как мы думали, а звёзды которые мы видим, это возможно тоже планеты, и возможно они находятся совсем в других галактиках. Это было так интересно, что замолкала даже гитара, и мы все немели и с трепетом, молча смотрели в космос ища каждый свою звезду удачи.

Нужно ли говорить, что всё то что мы по началу носили Москвичам, стали не смотря на их строжайший запрет, ста-

ли носить Ленинградцам. Но и тут вышла заковыка, мы дома не воровали, это наши мамки, зная как студенты положительно влияют на нас, сами завязывали нам в узелки, и домашний хлеб, и сало, и домашние бочковые огурчики с помидорами, а то велят и ведёрко яичек, или молодой картошки которой и сами ещё не ели, а иной раз и свиной копчёный окорок. Эти странные студенты, за так, на отрез отказались брать, а когда и мы стали отказываться от денег, они велели всё отнести по домам, и больше с продуктами не приходите, скрепя сердце, пришлось взять, так мы своим мамкам и объяснили, отчего те ещё больше зауважали Питерских.

Многое мы взяли от них, и когда они уезжали. мы ревели без стыда, а наши мамки так загрузили их пирожками и прочими продуктами так, что те взвыли, и крикнули шофёру трогай давай, а не то мы здесь так и останемся. После их отъезда, пацаны не сговариваясь грустно потянулись на берег Ишима, к месту где стояли их палатки, к пепелищу костра, к брёвнышкам на которых сидели вечерами глядя на огонь и слушая студенческие грустные, весёлые, и юморные песни. Под одним из брёвнышек, где был наш общий тайник, мы обнаружили записку и кучу всякого добра оставленного нам в добрую память. Там было много значков, маленький театральный бинокль и главное, наша тайная мечта, перочинные ножи со многими лезвиями и даже ножничками. Эти ребята на всю жизнь остались в нашей памяти, и благодаря им, Питер для многих из нас стал мечтой. Моя мечта сбылась, я

был там, я служил на Балтике, я полюбил Питер, и полюбил ленинградцев.

Военные шофера

На уборочную к нам в совхоз всегда пригоняли автоколонну военных грузовиков, он всегда располагались отдельным лагерем на окраине посёлка, окружали стоянку глубоким рвом, ставили большие палатки, полевую кухню, делали навес над длинными столами, летний душ, небольшой лазарет в котором обитал молоденький фельдшер, ставили большой уличный туалет, вешали ряд рукомойников, в проезде ставили шлагбаум и конечно часового, без оружия но с армейским ножом в облезлых деревянных ножнах. Совхозные девки которые уже на выданье, плюнув на танцы под гармошку иль баян, табунком толпились у рва в ожидании своих ухажёров, впрочем и не всегда безрезультатно. Глядишь после уборочной, когда последний хлеб увезён на элеватор, кто-то играет свадьбу, кто-то увозит свою зазнобу в свои края, ну а кто-то погрузив свой «Зил» на платформу состава, исчезает, тает как дым, оставляя свою клятвенную «любовь» с большим животом, в соплях и слезах.

Шабашники

Есть ещё одна категория «целинников», это шабашники, и как правило армяне и грузины. Одни пахут с рассвета до темна, это люди степенные и очень серьёзные, но и они

поддав иногда после бани, чачи или своего вина, затянут протяжную горскую гортанную песню с переливами, так как умеют петь только абхазы и грузины. Нас они никогда не прогоняли, и даже иной раз тоскливо допевшись до слёз в глазах, угощали нас греческими орехами, большими красными, диковинными гранатами, сушёным очень сладким виноградом и ещё какими —то кавказскими сладостями, что и говорить, если они нам нравились.

Армяне, молодые шабашники нравились другим, они почти как грузины, но сами не готовили а ходили в очень дешёвую совхозную столовую, все они были молоды и все очень любили русских женщин. Одевались они с иголки, и выглядели по сравнению с нашими парнями, Испанскими грандами, одни туфли чего стоили, ведь любой уважающий себя молодой Ара, носит только сшитую на заказ обувь. А уж костюмчики на них были и рубашки, А какие причёски и незнакомый нам мужской парфюм? Местные девахи на танцах чуть в обморок не падали, когда они приглашенные молодым Ара на танец, вдыхали этот мужественный запах, и чувствуя упругую «пружину» у себя между ног, они готовы были на всё, и не обязательно проситься замуж, хотя бы просто так, но подольше. Да, это как сейчас говорят, были неотразимые мачо, с другого мира, с другим подходом, комплиментами и лаской, и не устоять деве, не устоять.

Почувствовав себя обиженными и униженными местные решили отбить у Армян охоту к своим потенциальным

невестам и женам. Наши доблестные комбайнёры, которые по пьяни мутузят друг друга, до потери пульса, окружили иноземцев, и хотела задать им взбучку, но те стали спина к спине, и наиболее отважные стали отлетать с разбитыми носами и расквашенными губами, это был урок храбрым и слишком пьяным аборигенам. Но нашего полку прибавлялось, и дело у Армян стало совсем хреновое, особенно когда в ход пошли толстые палки, жерди, столбики, камни и прочие запрещенные мужским кодексом орудия. Они прорвались сквозь кольцо недругов, добежали до своей общаги, и заперлись в доме.

Я уже хоть и был местный, но болел за Армян, потому что они отважно дрались, и их было совсем мало по сравнению с полчищем набежавших пьяных механизаторов. Да, их избили до полусмерти, но какой ценой, озверевшая толпа камнями вынесла все окна и двери, внутри всё было залито кровью, на Армян было страшно смотреть, это были окровавленные трупы, мясо. Вот только тогда и нарисовался доблестный, одноглазый циклоп, участковый капитан по кличке «Камбала», но кроме избитых до полусмерти армян, вокруг никого уже не было, а с кого спрашивать: – Что же это вы ребята сделали с собой, перепили, озверели совсем? – А что с них взять, дикие, с гор спустились. Я хоть и пацан, кричу ему как было дело, а он мне: – А по тебе давно тюрьма плачет, жаль что тебя нельзя пока, отправить вслед за твоим отчимом, а то бы я враз оформил дело, вот и сейчас ты меня

оскорбляешь при исполнении. Он прекрасно знал что пого- нялом «Камбала», окрестил его я. И хотя мне ещё не даже тринадцати лет, у меня уже был такой серьёзный и подлый враг, не каждому так везёт, но и у него и у меня были уве- систые причины стать на тропу войны, хотя силы были явно не равны. Я ведь в своё время сидел за одной партой с его дочерью Любкой, и был вхож к ним в дом, где меня даже прочили в мужа Любахе.

Но так было пока не назначили виноватым и не посадили на большой срок, моего отчима, главного энергетика совхо- за. И когда Камбала с комиссией и районными ментами, при- шёл в наш саманный домик описывать и забирать всё иму- щество, я спросил его при всех:

– А ведь ты совсем недавно целовал моей мамке руку, и лизал очко отчиму. Надо думать, что мои совсем невин- ные слова он принял как оскорбление, и при всех поклялся испортить мне жизнь, так как только сможет. —Торопись, Камбала, ведь ты стареешь, и тебе скоро на пенсию, а я в это время расту и набираюсь сил, так что, не пожалеть бы тебе о своих угрозах. Армяне на удивление быстро поправились, и что более удивительно, не стали никуда жаловаться и пи- сать заявления, они просто сказали следакам, что они муж- чины, и разберутся они тоже по мужски, но по своему, и ста- ли везде ходить без страха, но с ножами.

Местные мужики притихли, и с опаской смотрели на ар- мян. А вот отомстили жители солнечной Армении, по сво-

ему, и после их отъезда, через некоторое время, а вернее через время предназначенное природой, в совхозе начался массовый отёл молодых женщин и бывших девушек, смуглыми курчавыми ребяташками. Они появлялись даже у замужних добродетельных матрон, мужа которых хватались за головы и не могли поверить в это. Но, жить надо, и отколотив своих жёнок чисто по русски, они уходили в запой, заливая своё горе. А их жены, даже не винясь, и не чувствуя греха, улыбались разбитыми в кровь лицами, и мечтательно, с блуждающей на опухших губах улыбкой, смотрели на смуглые плоды своей любви, и не чувствовали никакого греха.

Молодые специалисты

Эти удивляли всех, они появлялись в совхозе как пришельцы с иных миров. Две девочки учительницы сразу стали примером для подражания, для всех девчонок и молодых женщин, всю женскую половину совхоза лихорадило, они кроили и перекраивали свои наряды как только могли, они уже не накручивали на волосы бумажные папильотки, а ездили в райцентр за полноценными бигудями, долой раскалённые бабушкины шипцы для завивки волос, и «Химию» от которой волосы секутся и выпадают. Они выискивали или заказывали отпускникам привезти им фены, (которых и в продаже-то не было) Им стало нужно всё, и туфли на высоченном каблуке, и тонкие, с кружевами вверху чулочки всех оттенков, и пояса для этих же чулочков, хватит

перетягивать ляжки резинками от старых трусов, лишь бы хоть немного стать похожими на красавиц училок. Старые журналы «Мода», выброшенные учителями на помойку, девочки мигом подобрали и поделили по листкам, и меняясь просмотрели их до дыр.

Дошло до того что двух самых бойких, собрав втихаря от мужей немалую сумму денег, отправили в Москву ходочками прямо в ЦУМ, где сказывали добрые люди, есть всё. Это было женское безумие, ажиотаж из-за которого учителя лишней раз и на улице не показывались, ну разве что выносили помойное ведро с картофельными очистками, придерживая расходящиеся полы шикарного халатика или кимоно, пальчиками с изумительным маникюром, а это опять производило фурор. Молодые учителя стали идолами, божествами от которых пахло таким парфюмом, что голова шла кругом.

Но вот и они, чёрненькая и смуглая лицом, стройная как молодая берёзка, Саша, и самую малость полненькая, Ира. Они одного роста, юбочки на них такие что не только бабки шипят о потере стыда. Но какие у них ноги, да, тут есть что показывать, когда глаз не оторвать, и от лиц, и от всего того что гораздо ниже, а если нечаянно бросить взгляд на их груди, которые вот, вот упруго выпрыгнут наружу, то и вообще глаз не оторвать, от этого совершенства. Вот даёт боженька, кому всё, и с лихвой, а кому шиш без масла. И как же блин обидно становится, когда даже зеркало идёт волнами при взгляде на себя.

Сейчас, мне уже старому человеку, хочется запоздало сказать уже бабушкам, а тогда девчонкам тех лет, что они и так были молоды и красивы, только сами не сознавали этого. Ведь и их любили, и замуж они выходили вовремя, и детей рожали, и внуков дождались, а многие и правнуков, и уже они не мучились вопросом о своей красоте, ведь у них была своя красота душевная, которую не купишь нигде и не за какие деньги. И если вы иногда ругаете за что-то своих детей или внуков, вспомните себя в молодости, и всё сразу станет на свои места.

Инженера

Всегда строгие костюмы, белейшие рубашки, чёрные галстуки, они тоже как-то сразу не вписались в совхозную касту местной интеллигенции, своей принципиальностью, неуступчивостью, и что греха таить, своей грамотностью от которой доморощенным механикам становилось стыдно и неудобно. Видно сама судьба свела вместе красавиц учительниц и напористых умниц, инженеров, им завидовали, их уважали, их боялись и им угрожали. Наши инженера все угрозы игнорировали и вели себя как у себя дома. Но было в совхозе дикое и вечно пьяное племя механизаторов, недавних выпускников ФЗО, об этом попозже, потому что это будет неприятный и долгий рассказ.

В один из выходных, наши две пары интеллигентов, то бишь инженеров и учителей решили осчастливить своим ви-

зитом местный клуб где должны были крутить новый фильм, а потом ожидалась танцы под радиолу. Надо отдать должное этим парам, они очень хорошо смотрелись вместе и подходили друг другу как нельзя лучше, но это был такой страшный контраст с местной публикой, что кой у кого от злости что он тоже не такой, закипела в жилушках кровь, а выпитый накануне неразведённый спирт, толкал на безрассудство и подвиги. Поэтому всё было испорчено ещё до начала всех этих мероприятий.

А надо сказать что вдоль здания, вернее барака, (Но не Обамы) тянулась длинная, глубокая канава с пологими глиняными краями для будущего отопления и водопровода, куда, не дай бог упасть, выбраться было бы невозможно. Наверное поэтому первый из агрессоров, который хотел врезать одному из инженеров, по нашенски, по колхозному, отчаянно размахнулся, и нечаянно пролетев мимо противника, с визгом улетел в глубокую, почти на половину с грязью, после прошедшего накануне дождя, канаву. Ну кто знал что первый на деревне дебошир и боец, так позорно нырнёт головой прямо в самую жижу, откуда вскоре послышалось бульканье, трудный кашель, и наконец отборный русский мат. Его «шестёрки» и друзья не оценив опасности, но горя желанием отомстить за кента, горохом сыпанули на молодых инженеров, которые предвидя события но не желая отступить, отвели своих девчонок под стеночку клуба, к стоящим там семейным парам, и попросив дюжих мужиков присмот-

реть за ними, пока здесь не кончится «кино» под названием: «Избиение младенцев».

Странное дело но парни ни одного ухореза так и не ударили, просто, те подлетали в воздух и со «Шмяком» приземлялись уже в канаве, рядом с остальными, благо что места там было ещё много. Кто-то летел сопровождаемый пинком под седалище, кому-то перепало по отечески в ухо, но ни одной капли крови не было пролито. Ну кто из ворогов знал что мягкие и интеллигентные люди, мастера спорта по самбо, и ещё каким видам спорта. Но то что один из них ещё и мастер спорта по мотогонкам, я в последствии убедился лично, когда он Стёпкином Ижаке перелетал через рвы и буераки, делая стойку на руках, вот это был класс.

– «Развлечение» быстро кончилось потому желающих нырнуть с высоты в грязь, больше не нашлось, а молодые люди передумав, отправились любоваться Ишимом с кристально чистой водой и камышом с коричневыми замшевыми на ощупь отростками, белыми и жёлтыми кувшинками, скалами на нашей стороне и бескрайностью степи на другом берегу. Впоследствии они поженились, и мне кажется что иначе и быть не могло.

ФЗО

В Советское время, низшая ступень фабрично заводского обучения, для детдомовских, недоучек, сирот и дебилов, хотя им и выдавали права «тракторист машинист широкого

профиля», (узкого знания.) Это было племя молодых печенегов, без родины без флага, не знавших, потому и не ценивших ни истории, ни законов, ни общественных и семейных ценностей. Это была не их вина, это была вина существовавшего тогда строя, и конечно войны. Государство их подобрало, выучило как смогло, дало им специальности и пинок в свободную жизнь, тебе уже шестнадцать, вот и лети выбери свою дорогу в жизни. А дорог было не так уж и много, тяжёлый беспросветный труд, с жизнью в общаге с тараканами и клопами, криминал, зона, пьянство и как следствие смерть. Повезёт только тем кто доживёт до армии, и выйдет оттуда с другими взглядами на жизнь, и какими-то другими планами.

Ну а пока, эти шестнадцатилетние парнишки целинники, вместе с урками и условно освобождёнными зеками, месяцами живут в степи, на полевых станах, изредка выезжая в усадьбу совхоза в кино, или на концерт приезжих артистов гастролёров. Для начала, конечно нужно напиться, хотя выбор был всегда невелик, спирт 96 градусов, а на закуску килька в томате, слипшиеся от жары карамельки, ну и пряники вековой окаменелости, вот и весь небогатый ассортимент местного сельпо, а сухим пшеном или макаронами и сам закусывать не будешь.

До кино, пока все тверёзые, драк нет, и все полевые бригады мирно сидят у кромки воды на Ишиме, разводят и пьют тёплый спирт, кого-то потянуло уже в воду, это кандидат

в жмурики, кто-то уже душевно с надрывом блюёт, а у кого-то уже кулаки чешутся, и он подозрительно косит глазом в сторону работяг с другой бригады. В этот раз обошлось без драки, но противники запомнили друг друга, и когда кино уже было на самом интересном месте, раздаётся дикий вопль: – первая бригада на выход, через мгновение другой голос орёт: – вторая и пятая бригада на выход.

Всё ясно, и все остальные механцы, опрокидывая и выламывая ножки у кресел, высыпают в чернильную темноту ночи, где раздаются вопли, стоны, крики, мат, какой то хруст, это пошёл в ход штaketник отдираемый от забора. Кто кого бьёт, непонятно, да это уже и не важно, поэтому участковый «Камбала», никогда и не торопится на эти молодецкие потехи, он уже не раз получал по своей лысой тылке, ища в темноте свой форменный картуз. А вот когда уже есть покойник, тогда можно спокойно идти на место битвы для составления протокола, и поимки преступника которого как правило не находят, хоть сажай всех подряд, всех пятьдесят, и то и поболее человек.

А кто тогда работать будет? Директор совхоза, мужик крутой, а его держит на довольствии из жалости. А ежели возьмёт да и выгонит? Куда тогда деваться служивому, а семья, а скотинка? Ведь много её у участкового, что у куркулей которых он раскулачивал когда ходил с наганом и в кожаной куртке. Всю жизнь, он потел и вонял от страха быть узнанным кем-то из тех, бывших, им убиенных и раскула-

ченных. Они то вроде были без страха, вот и кидались с вилами и лезли под ствол нагана. – А сейчас ему страшно, и он боится даже пацанов посаженного с конфискацией инженера. Скорей бы на пенсию, ведь давно уже переслужил, да никто из молодых ментов сюда не едет, всё в городах оседают.

Мне кажется слишком много чести для бывшего чекиста, грабителя с наганом, столько писать о нём, это видно моя обида до сих пор жива, хотя и кости его давно истлели. Стараясь забыть горе, обиды и всё плохое тех лет, я бережно храню в памяти моей всё что связано с детством и той целинной жизнью. И как всегда, будто в начале кино, сначала всплывают в памяти бекрайняя казахская степь с волнами голубого ковыля, и река Ишим с кристально чистой водой в летнее время. Но главное, это память о моих друзьях детства и юности, о вечерних танцах под гармошку, а потом и под магнитофон, владелец которого сразу стал первым парнем на деревне. Остались в памяти и бригады грузинских и армянских шабашников, и толпы вербованных со всего союза девок и парней, и студенческие строительные отряды, и военные шофера прибывающие на уборку хлеба. Запомнились и бессмысленные, жестокие, пьяные драки молодых механизаторов, и всё что бы ни происходило в нашем посёлке, всё было интересно, и запомнилось на всю жизнь.

Мне тогда, ещё не знавшего жизни, казалось что так, в таком темпе живёт и вся наша великая страна, целью существования которой стало поднятие целины. И я понял что это

было не только наше взросление, это и была та самая жизнь, без прикрас и пафосного героизма, целина нашей начинающейся жизни и того времени.

Мы кузнецы и дух наш...

В 1961 году, мне с братом Мишкой, который был на год старше меня, пришлось идти работать. Нам уже приходилось работать, и в поле на прополке овощей, и в посевную на сеялках, а в уборочную на токах перекидывать в буртах многие сотни тонн зерна, чтоб оно быстрее сохло и не дай бог не заплесневело и не загорелось прежде чем его отправят на зернохранилища или на элеватор. Трудились не только мы, работала вся школа, выручая совхоз и набивая первые мозоли. Деревенская ребятня с детства знает про сенокос и откуда берётся молоко, сливки и сметана, и своё личное подворье полное всякой мычащей, бекающей, хрюкающей, гогочущей и кудахтающей живности не давало времени на игры и баловство. Работаешь в поле или на току, а сам думаешь про кучи навоза, которые нужно будет сегодня же убрать их под коровы с бычком, и свиней, да настелить им свежей соломы и дать свежей травы в общем, забот было выше крыши. Это я сказал про когда-то, но сейчас у нас совершенно пустой хлев, всё описали и забрали опричники в погонах, вот только голубей я специально выпустил в небо и засвистел им в след, зная что они всё равно ко мне вернуться. Мишку совхоз отправил в ПТУ, учиться на электрика, а меня по слёзной просьбе мамы, определили в ученики токаря, чему я был очень рад, ведь не каждому в тринадцать лет доверяют то-

карный станок.

Ломая резцы и свёрла, я старался вовсю, даже похулиганить некогда. Я давно облазил всю нашу громадную мастерскую, в ночную смену принявшись обучать сам себя фрезерному делу, сломал ценную фрезу, а на большом станке ДИП 300, к которому меня не подпускали и пушечный выстрел, запорол уникальную деталь для громадного польского дизеля электростанции. Не знаю как всё это сходило мне с рук, но на работе я удержался благодаря маминым слезам, и авторитету бывшего энергетика, отбывающего свой срок длинной в восемь лет, в местах не столь отдалённых.

В результате моих «подвигов», мне разрешили в свободное время посещать только кузницу, где ломать было вроде нечего, и где по нечайке я всё равно переломал все ручки на молотках и молотах, а старший кузнец только и сказал:

– Ничо, все так начинали. – Только вот что, сдашь мне экзамен на точность удара, разрешу тебе приходить сюда, и учиться на молотобойца.

Он достаёт из большого железного ящика новый молот, набивает полный спичечный коробок поплотнее, кладёт его на край наковальни; – бей так чтоб все спичечные головки были расплющены. Дал мне задачку для первоклашек; – да раз плюнут, я не прицеливаясь размахиваюсь и бью точно по тому месту где должны быть спичечные головки. Я не знаю что потом произошло, но раздался взрыв, молот улетел сквозь стекло широкого окна, а я полетел в другую сто-

рону, попав спиной в открытый ящик кузнеца, где к моему счастью висела его брезентуха и ватник. Не знаю как я выглядел в тот момент, но кузнец с молотобойцем рухнули от смеха на земляной пол, и стали икать не в силах остановиться. Потом успокоились, объяснили почему так рвануло, и разрешили приходить в любое время, когда появится желание помахать молотом и чему-то научиться, что в жизни может пригодиться. И они оказались правы, их уроки, и мои хоть и небольшие кузнечные навыки, не раз выручали меня в жизни, а работа молотом добавила мне силы.

И кузнец Иван, и молотобоец тоже Иван, приехали с Украины, и оба были даже с одного села, только кузнец был малого роста, а вот молотобойца бог не обидел ни силушкой, ни ростом под два метра, да ещё и плечи косая сажень, как говорят в народе. У кузнеца, жинка была бы стандартной комплекции если б не её худоба, что компенсировалось приятным нравом и украинской кумовской гостеприимностью.

А вот у Ивана молотобойца, жинка была гром баба, со склочным характером, и ростом не меньше своего чоловика, необъятная в округности, и грудями не меньше молочных бидонов, а про её кулаки и силищу, я уже молчу. Её боялись все соседи, продавщица в сельпо, пьяные и трезвые мужики, а её собственная скотина при виде хозяйки, разбежалась кто куда, и пряталась во все углы двора и сарая, несмотря на то что та пришла покормить своё поголовье. Её корова трясясь отдавала молоко, и от страха поносила и исходила

жёлтой пенистой мочой.

Однажды, я работая во вторую смену, зашёл в кузницу обратив внимание на включенный в это время свет. Наши кузнецы пили самогон, и вели свои кузнечные и чисто мужские разговоры. Кузнец; – ты Ванька вирішь мэни, чи ни? Я люблю бабу уломаю, хоть дивку, хоть жинку, хоть молоду, хоть стару. —Брешешь ты старый, яка добра баба даст тобі, сморчку старому? Может ты ще и мою бабу уговоришь на грих? А шо, а шо твоя баба з другово тиста, чи шо? Все оны однаковы, тильки поманы ии пальцем, и усе, пишла.

Я ушёл, было много работы и слушать пьяный базар пьяных хохлов, было некогда. Я сразу забыл про бахвальство старого кузнеца, да и он забыл о своих словах сказанных в горячке, и на пьяную голову. А вот молотобоец, гавно эдакое, весь пьяный базар передал своей жинке; – А шо Параска, тыб и взаправду раскарячилась бы перед Иваном?

Ой дурень ты дурень, кто же говорит такие слова своей буйной жинке, о своём друге, куме, соседе по дворам на Украине, и на конец о своём прямом начальнике, коим кузнец и являлся. И опять я оказался свидетелем представления, но на этот раз не один а всей мастерской и кучи механизаторов стоявших на ремонте.

«Концерт» начался в кузнице, когда жинка молотобойца принесла ему обед, украинский борщ он не доел, потому что кастрюля с остатками борща, плотно оделась на лысую голову кузнеца. Потом она ухватила молот, но кузнец не стал

ждать рокового удара, и с кастрюлей на голове, и свисающей с ушей капустой, он ломанулся на улицу мимо толпы мужиков, приговаривая, ой сказывалась баба, ой сказывалась, ой убье, ой убье. Увидав по пути фанерную бочку из под сурика, он схватил её и стал за углом, подняв бочку до уровня её головы, только она с визгом вывернулась из-за угла, он опустил эту бочку ей на голову, с таким же успехом можно было стрелять мелкой дробью в задницу слону. И марафон продолжался, и уже сам Иван, в который раз кричал жинке:

– Параска, тормози, бо сам остановлю. Она вроде как споткнулась, услышав его голос, но потом прибавили газу, и вновь понеслась за кузнецом вокруг мастерской.

Уже и мужики, просмеявшись сказали молотобойцу; – Иван может хватит мужика позорить, да и годы к него уже не те чтоб такие скачки устраивать. Тот молча встал, подождал пока баба в который раз вылетит из-за угла, потом и врезал ей, да так что пришлось водой отливать, и домой на самосвале увезти, потому как, ноги её не держали, а в голове что-то сильно гудело. Конечно, кузнец мог эту мегеру сразу успокоить, но она была чужой женой, соседкой, и что самое главное кумой, что на Украине свято.

В этот день старый кузнец, после такого позора, оставив работу сразу ушёл домой. Вечером жена вызвала врача, и его увезли в больницу, жене сказали что у него инфаркт. Молотобоец ходил к нему проведать, но его не пустили, сказав что дядя Ваня такого не знает, и знать не желает. Из квар-

тиры молотобойца теперь каждый день раздавался рёв, а его баба ходила вся в синем макияже, но на людях закутанная по самые глаза. Вот так, по глупости рушится многолетняя дружба, комом растёт непрощаемая обида, и как результат, инфаркт миокарда. Как мы порой жестоки даже в мелочах, как мы не можем и не хотим понять что жизнь даётся одна, и другой уже не будет, нам нужно учиться жалеть себя, жалеть ближних, учиться говорить добрые слова, и уметь прощать друг друга.

Красатуля, мы все тебя любим

Она вовсе не была заразой, она была очень милой красавицей с загадочной улыбкой Джоконды, глядя которой вслед, мужики и парни сворачивали себе шеи, а мы пацаны, мигни она глазом, готовы были броситься со скалы. Да, красота страшная штука, и в первую очередь для той, которая ей обладает. Заразой её прозвали те же бабы, которые не отличались ни умом, ни красотой, это они шипели ей вслед: «У, пошла зараза, дывысь як вона жопой вэртит, и вси сиськи наружу, як у мойй козы, а ще вона наших мужикив примаюне, свий-то сбижав вид нэи, ось вона и бесится, тай мабудь и колдуе, дывысь яки у нэи, очи бесовски, видьма».

После отъезда мужа, который раньше в совхозе работал механиком, она стала «белой вороной» которую в этой женской стае, (стаде) каждая норвила клюнуть побольнее, и всегда при людях; – вот мол, мы какие порядочные, у нас мужья, дети, а ты ходишь юбкой крутишь да наших мужиков сманюешь.

На самом деле, никого она не сманивала, и никто ей не нужен был, и сюда, на целину, она наверняка попала по какому-то страшному недоразумению, ведь есть прекрасные цветы которые даже из теплицы выносить нельзя, они быстро завянут и засохнут, потеряв свою первоначальную красоту и аромат. Но наш цветок ещё держался, пытаюсь приспособо-

бится и выжить в чаще чертополоха.

Мы пацаны любили её, а девчонки боготворили, наши детские души ещё не были испорчены завистью, злобой и ненавистью. Мы ещё не могли ненавидеть, мы могли только любить и уважать. Вот она, с небольшим эмалированным тазиком идёт на берег Ишима, и мы уже знаем что будет дальше. Спустившись по тропинке к воде, она располагается на большом плоском камне, потом оглянувшись по сторонам, снимает лёгкий сарафанчик и ложится на горячий от солнца камень. На ней символический бюстгальтер и такие же трусики, мы все замерли по своим расселинам, откуда подглядывали за ней, вот это картина. Это не то что наши бабы ходят на речку в самодельных лифчиках прошитых крест на крест, и в байковых от груди и до колен рейтузах.

Вскоре она встаёт, снимает полоску едва прикрывающую рвущуюся наружу грудь со светло коричневыми торчащими сосками, и трусики. Тут мы и вовсе окаменели, и всем нам стало страшно стыдно, но оторвать глаз, мы уже не могли. Она немного намылив, быстренько всё простирнула, и опять оглянувшись вокруг, расстелила бельишко на раскаленном камне, а сама большой белой рыбой нырнула в тёплые воды Ишима. Теперь она вся была на виду, а кристально чистая вода, как линза увеличивала её прекрасное тело. И мы уже любовались ею не как мальчишки, а как парни, не тая грешных но таких несбыточных грёз. Мы видели её всю, но и она отплыв на серёдку речушки, видно обнаружила нашу засаду,

и нырнув как дельфин, за несколько нырков достигла берега. Прямо из воды, она стянула с камня сарафанчик, и чтоб его не намочить, стала выходить из воды, показав нам напоследок всё то что мы так хотели увидеть. Погрозив нам, якобы невидимым, своим пальчиком, она неспешно пошла по тропинке вверх, отряхивая на ходу свои длинные до пояса, мокрые волосы. Мы, думая что она уже не обернётся, как суслики повыскакивали из своих норок, но она неожиданно остановилась, обернулась, и засмеявшись, ещё раз погрозила нам пальчиком.

Мы никогда не слышали её смеха, и только теперь поняли что зазвеневшие колокольчики, и были её смехом. С тех пор, мы, уже почти юноши, потеряли покой и сон, она снилась всем, она манила всех нас своим очарованием, и была нашей несбыточной мечтой. Думая о ней, мы пацаны, мужали, и уже как-то по другому смотрели на своих девчонок, кто из них первая расцветёт такой же красотой и обаянием?

Однажды, как раз в день получки, я стал свидетелем безобразной сцены прямо у конторы совхоза, где она и работала. Хохлушки кучковались у крыльца конторы, чтоб вовремя изъять у своих благоверных, потом заработанные карбованци. И как всегда разговор зашёл о «заразе», ах вона така, ах вона сяка, и мужик вид нэи сбижав, добрый хлопчик був, мыханыком робыв и гроши добри получал. Но тут вдруг выходит наша красатуля, поняв что разговор идёт опять о ней, она проходя мимо, всё же поздоровалась и хотела пройти ми-

мо, но не тут-то было.

– Ты шо зараза наших мужикив зманюишь? Шо чешеца у тэбэ мижду ниг?

Красатуля сначала онемела не зная что и сказать, – женщины это о чём вы, или о ком? Зараз мы тоби покажем, и о ком, и о чём, – бабы бей её, но первая которая подлетела, получила такую оплеуху, что отлетела к стенке и завыла басом. С другими, не менее храбрыми произошло тоже самое, и это было чудо, наша кроткая и милая красатуля дралась как лев.

Но подскочила припоздавшая к разборкам, бабища молодобойца, – бабы стойте, щас мы побачим, е нэи трусы чи ни. И она умудрилась разодрать на красатуле платье, до самого пояса, где все увидели крошечные трусики, а все мужики (идиоты) вытаращили глаза, но ни один из них даже подумал защитить женщину от своих жёнок. Бабы, та хибаш це трусы? Проститутки тильки таки носят, а лифчик який у нэи, срам одын. Красатуля стояла бледнее полотно, но больше ничего не говорила и даже не думала убегать, хотя бы в свою контору, куда за ней никакая из мегер не пошла бы.

Бабы, а я ии щас селёдкой по мордасам надаю, бабища выхватывает из авоски большую солёную селёдку, и размахивая ею начинает подступать к красатуле, Та не долго думая, сдёргивает с ног остроносые туфельки на высоких каблучках; – ну давай, попробуй образина, сразу без гляделок своих наглых останешься. Хохлушка сразу как об стенку стук-

нулась, а тут и у нас парнишек мысль сработала: – «Бабы, вы тут скандал затеяли, а там ваши дома горят синим пламенем, вон видите дым валит?» Конечно ничего не горело, и ни какого дыма не было, но бабы все как одна включили свои сирены, и с воем понеслись к своим домам. Инцидент сразу был исчерпан.

Красатуля поняв наш нехитрый ход, улыбнулась, сказала, – спасибо вам мальчишки, и пошла по улице босиком, неся туфли в руках, и даже не пытаясь прикрыть разорванным платьем свою красоту, богом данную.

Буквально на другой день, она получила от мужа бандероль с сургучными печатями. В конторе написала заявление на расчёт, и попросила директора никого не наказывать и не увольнять из-за вчерашнего скандала, а ещё сказала что её мужа как специалиста, горком партии направил в одну из развивающихся стран, тоже подымать целину, сказала что он уже там, и ждёт её. А ещё сказала что их бунгало стоит на самом берегу океана, а вокруг растут большие пальмы, и бегают маленькие обезьяны. Что оставалось делать директору совхоза? – Езжай доченька с богом, большому кораблю большое плаванье.

Красатуля ничего и никому не продавала, она всё раздавала, на её взгляд, хорошим людям, и посуду из нержавеющей стали, и всю добротную мебель, девчонкам отдала весь свой гардероб, нам пацанам складные мужнины ножи, и весь столярный и слесарный инструмент. Она никого не обидела, и всем

что-то осталось на память. Она попросила нас проводить её, и каково же было её удивление, когда возле автобуса она увидела толпу людей, и здесь были все, и друзья, и тех кто вчера готов был растерзать её, но сегодня все желали ей счастья и доброго пути. Она заплакала, и конечно всех простила. Прощай наша первая пацанская любовь, наша Красатуля.

Жизнь продолжается

Маме без нас с Мишкой было тяжело с тремя ребятами, и пока я пытался в городе попробовать жизнь на зуб, а Мишка учился в ПТУ на электрика, им пришлось без наших, пусть и небольших, денег туговато. Поэтому я без раскочки, сразу на следующее утро, пошёл к директору совхоза опять проситься на работу, он мужик мудрый и понял всё правильно, без лишних расспросов подписал заявление и только сказал: «Молодец!».

Многие молодые уезжали в города в надежде на лучшую долю, да не многим это удавалось, из совхоза было только два пути: это служба в армии или отъезд на учёбу в какое-нибудь ПТУ, техникум или институт, но и в случае окончания учебного заведения многие возвращались обратно – корни наши, детство и давно ставшие родными края не отпускали.

Перед самой поездкой в город я сдал на четвёртый разряд токаря, с ним меня обратно и взяли, и это означало, что рублей сто, сто двадцать, я буду приносить домой каждый месяц. Это в те времена были неплохие деньги, и ещё не каждый мужик мог похвалиться таким заработком.

Любимые смены у нас, молодых токарей, были, конечно, вечерняя и ночная, когда мы, выполнив сменное задание, могли заняться своими делами, которых у нас, как и у любых мальчишек, было всегда невпроворот. Да, мы работали

как взрослые, но, по существу, всё ещё оставались пацанами, только вот игрушки в наших руках уже были не детские, да и то, чем мы занимались ночами, детскими шалостями называть уже было трудно.

Мы изобретали малокалиберные пистолеты, хотя до этого никто из нас их и в глаза не видел, собирая на свалках дюраль и алюминий, выплавляли в кузнечном горне длинные «чушки», чтоб потом из них выточить ракеты. Как ни странно, но некоторые из них взлетали и довольно высоко, некоторые взлетев, взрывались, что тоже было хоть и весело, но не то. Значит, нужно увеличить диаметр сопел или попробовать другой порох, а, возможно, увеличить толщину стенок камеры сгорания. Вот такие проблемы нас интересовали, и мы в поте лица точили, сверлили, фрезеровали, варили сваркой и стучали в кузнице молотами и молотками, чтоб в конце спросить себя:

– Ну и что это у нас получилось?

– Завтра сделаем по-другому.

У нас была и своя, пацанская песенка на старый мотив: «За станком писклявый голос слышится, то поют всю ночьку токаря».

Зима прошла быстро, а весной мама с двумя младшими уехали к отчиму в город: ему там, в бараке, дали жильё. Мы, трое старших, во главе с Михеичем, ещё по осени окончившим своё ПТУ, остались в совхозе, в нашем старом, саманном домике. Долго жить одним нам не пришлось, просто

новые хозяева попросили нас освободить избушку, что мы и сделали. Наняли за три рубля (водка стоила 2,87) машину, закинули в кузов остававшиеся вещички и в путь. До полустанка «Ковыльный» было семь километров, мы не раз там бывали, гоняя на «великах» везде, где есть дорога, а где её не было, там было ещё интересней.

Всюду степь и волны ковыля до самого горизонта – красота. Но вот и паровозик катит, пытит, лязгая сцепками, он стоит одну минуту, и нам закинуть наши узлы с матрасами, подушками и одеялами времени хватит. Мы, как те цыгане, которых мы видели в Акмоле, когда ехали сюда. Мы бы бросили это старьё, но мама велела всё привезти. Она многое в жизни испытала: войну, оккупацию, бомбёжки, когда ей как щитом приходилось своим телом накрывать нашу старшую, тогда ещё маленькую сестрёнку. При приближении вражеских, пикирующих с жутким воем бомбардировщиков она укладывала Нелю в канавку, а сама, укрывшись одеялом, ложилась сверху: зеленоватое одеяло на траве служило как маскировка, и Бог их миловал, пулемётные очереди противно вжикая, ложились рядом, но, слава Богу, не в них.

Сейчас это снова происходит там, на Украине, как раз в тех местах, где уже однажды прошла война, на нашей родине. Возможно, это звучит кощунственно, но я рад, что мама не дожила до этих дней, она ушла в мирное время, не испытывая горя и тревоги за нас сыновей и за нашу родину, Украину. Я сейчас жалею о своих преклонных годах, жалею,

что не могу взять в руки автомат, и с такими же, как и я, уничтожить всю ту нечисть, что затеяла там свои дурные игрища. Но они уже сами вынесли себе приговор, история повторится с тем же результатом.

В дороге всегда всё интересно: и покачивание вагонов, и мерный перестук колёс, и пробегающие мимо окон посёлки, городки, станции и полустанки. И даже бегущие вдоль поезда телеграфные столбы были интересны, ведь они тоже куда-то спешили, неся в проводах хорошие и дурные вести, какие-то поздравления, чью-то радость, приказы и заказы, неся людям всё, о чём они должны были знать, они несли информацию столь важную в наш просвещённый век.

Наши жили за городом, но не на природе, как следовало ожидать, а рядом с дымящей первой очередью ТЭЦ, в одном из десятка барачков, наскоро возведённых для новообращённых в социалистическую веру и исправившихся зэков, то бишь «химиков». Оттого, что мы стали жить с отчимом, денег не прибавилось, и богаче мы не стали, потому нам и пришлось срочно искать работу, нам, это мне и старшему брату Мишке, который окончил ПТУ и получил корочки электромонтажника, ему в ту пору уже исполнилось восемнадцать, а мне – семнадцать лет.

Брата сразу взяли монтером в мехколонну на строительство ЛЭП, где он вскоре стал очень прилично зарабатывать, а я в это время всё ещё рыскал по предприятиям города в бесполезных поисках работы. Видя такое дело, Михеич,

уже показавший себя на работе с лучшей стороны, потолковав с начальством, помог устроиться туда же и мне. И это была большая удача, брат рядом, он уже как спец подскажет, научит, покажет и предостережёт от ненужной лихости при работе под напряжением, хотя под «напругой» вообще категорически запрещено работать, но все законы и запреты для того и существуют, чтоб их нарушать, хотя это оправдание для дураков и для уже «почивших в бозе».

Работа монтёром мне нравилась, это было по моему характеру, нравились постоянные командировки, переезды, общаги. Быт меня мало интересовал, я познавал мир и меня всё устраивало. Всегда были новые люди, что-то ещё незнакомое, неизведанное, и хотя любопытство не лучшее человеческое качество, я был любопытен в хорошем смысле слова, и скорее это была любознательность, мне всё было интересно и до всего было дело, в семнадцать лет, в самом начале взрослой жизни, наверное, все такие. Но жизнь не стоит на месте, и впереди у меня я точно знаю, что ещё будет много интересного: и хорошего, и плохого, и я постараюсь обо всём рассказать, даже, возможно, для кого-то это станет, если не откровением, то уроком.

Не бери в руки карт, никогда!

Наша мехколонна вела электромонтаж в основном на периферии: по сёлам, городкам, районных центрам, совхозам и т. д. Это и линии электропередачи, и «внутрянка», т. е. электрофикация зданий, ферм, частных домов и государственных зданий. В одну из командировок в одном из совхозов мы сдавали десять километров ЛЭП и подстанцию для одной из крупных скотоводческих ферм. Совхозное начальство в честь такого знаменательного события решило организовать для нас Сабантуй в степи, в юрте чабана казаха.

Мы ещё были на линии, доделывая какую-то мелочёвку, когда к юрте подвезли продукты: бочку пива, ящик коньяка, ящик водки, ящики с фруктами, овощами, всякими лучками да укропами, а на бешбармак зарезали громадного барана. Так что гуляй, Вася, – так думали мы, но, как оказалось, что этот банкет был организован не для нас, и на этом празднике жизни и казахского гостеприимства нам не нашлось места за богато накрытым праздничным столом, казахским дастарханом.

Но зато в каком-то закутке нам накрыли маленький столик на коротких ножках. Сидеть хотя бы и на ковре, но на корточках или на своей заднице в позе «лотоса», скрестив ноги, было не больно удобно, и мы просто прилегли, опираясь на один локоть, что тоже было не ахти как удоб-

но. За большим главным столом (тоже с лилипутскими ногами) устроились все «главные»: директор совхоза, гл. зоотехник, гл. инженер, гл. ветеринар, гл. бухгалтер, гл. прораб, зам по снабжению и ещё кучка, чуть менее главных, но осчастливленных предоставленной возможностью сидеть за одним столом с этими «небожителями», а что уж говорить о нас, работягах, хотя, на мой взгляд, и главных виновниках застолья.

За большим столом, не вспоминая о нас, уже чокались, говорили всякие хорошие слова в адрес директора, главного кормильца и поильца всей этой кофлы, и всего народа, вкалывающего на полях, на фермах, в мастерских и т. д. Вскоре туда подали громадное серебряное блюдо с бешбармаком и блюдо поменьше, но с цельносваренной бараньей башкой, которая предназначалась самому уважаемому гостю, то есть директору. Нам тоже подали блюдо с бараниной, но есть, как все нормальные казахи руками, мы не могли, поэтому нам подали вилки, с которых всё почему-то валилось на стол, на ковёр и нам на колени и животы, в зависимости от того, кто как сидел или лежал.

Целый день голодные мы, выпив по бокалу пива, а затем и водки, быстро опьянели и стали, как и все достойные люди, жрать бешбармак просто руками, а поев горячего вкусного мяса, вообще стали засыпать кто где, но там же, на ковре. Я кроме пива ничего не пил, поэтому, оставшись за столом в гордом одиночестве, продолжал свои наблюдения за сво-

рой узкоглазых, толстых, самодовольных «уважаемых» людей, наших благодетелей и слуг народа.

Я вот сейчас иронизирую, даже издеваюсь и смеюсь над ними, но это происходило пятьдесят лет назад, когда во всём был порядок, и у этих чиновников был в ту пору партком и какая-никакая партийная совесть и страх перед законом и ОБХСС, а потому воровали они помалу. Сейчас это даже как-то и неудобно назвать воровством, так, мизер, за который и из любимой партии вылетали, что было смерти подобно, и на зону отправляли, невзирая на чины, заслуги и звания, да ещё и с полной конфискацией имущества. У меня сейчас даже ностальгия вернулась по тем временам, но ушедшего не вернуть, поэтому и вернёмся к нашим «баранам».

Директор, хоть и не аксакал, но самый уважаемый человек, стал делить между гостями баранью голову. Но мне через широкие спины было плохо видно, как он, отрезая от разных частей, раздаёт мясо, но дело было не в количестве, а в уважении и, судя по гостям, все были довольны и даже счастливы. Про нас, конечно, пузonoсцы давно забыли или не посчитали нужным оказывать хоть какое-то уважение, ну и хрен с ними. Проснувшись там же, где упали, мы уже не обнаружили ни пива, ни спиртного – хорошо повеселились наши слуги народа. Из-за ширмы вышла хозяйка, молча поставила на стол подогретый вчерашний бешбармак, чай и трёхлитровую банку мутного, выдохшегося пива: «Это вам наш директор оставил, чтоб не болели». Ай, какой

добрый директор, хоть и казах, не забыл бурды со дна бочки оставить работягам, но и на том спасибо. Главное то, что нам очень хорошо заплатили, и мы были не обиде. Но, финита ля комедия, праздник окончен. А он был?

Свой «сабантуй» мы продолжили совершенно случайно, спонтанно, увеличив при этом и зарплату. Пока мы готовили технику к длительному перегону, а хозяин-чабан разбирал и выючил на своих верблюдов юрту, остальные пожитки, к нам подъехали два тягача, один из которых был с грузовой стрелой. Это оказались тоже «лэповцы», но из Алтайского края, которые очень нуждались в провод. АС – это алюминиевый провод со стальной жилой внутри. За пару дней до этого две бухты такого провода мы столкнули в озерцо, скрыв якобы выработанный провод на дне озера. Он никак не мог оказаться лишним, но из-за наших мастеров, неверно высчитавших километраж ЛЭП, всё так вот и случилось и это не в первый раз. Привези мы их опять в мехколонну, нас лишили бы премии, а так всё шито-крыто, и начальство в куражах, и мы не обиде. Но коллег нужно было выручать, поэтому меня, как самого молодого, загнали в болото чекернуть тросом барабаны спецом утопленного, но такого ценного провода. Вскоре бухты с проводом лежали не берегу, а пожарная машина отмывала их от грязи и ила. В быстром темпе кран тягача закинул их в кузова тягачей, и они упылили по степной дороге, оставив нам в качестве компенсации тысячу наших родных деревянных, но таких желанных рублей.

Мы не считали это воровством, это был фарт, взаимовыручка и честная сделка, за которую, впрочем, в Советское время спокойно сажали на зону. Дома, несмотря на весьма изумлённые лица наших родных, пораженных видом толстых пачек трудовых рублей, ни один из нас не проболтался по поводу небывалого заработка своих кормильцев, а заодно и аферистов, добытчиков. Мы хотели спать спокойно, причём на свободе, на мягких диванах, а не тюремных нарах. Да, ребята, в шестидесятые годы и сто рублей были очень приличными деньжатами.

Психушка

Мне запомнилась ещё одна небольшая командировка в п. «Садыгачи», я не знаю перевода этого слова с казахского, но там, в шикарном сосновом бору, находилась психбольница. Там были построены несколько новых одноэтажных корпусов для душевнобольных, и наша бригада вела там электромонтажные работы. Сделав работу, бригада уехала, а через некоторое время нас с братом отправили туда устранять мелкие замечания и недоделки. Туда-то нас увезли на своей вахтовке, пообещав на следующий день приехать подписывать форму 2, это акт о сдаче объекта, ну забрать нас с братом...???

По корпусам, по палатам нас повёл дюжий медбрат, санитар, он шутил, рассказывал разные «дурацкие» истории и был спокоен, как мамонт в мерзлоте. Он успокаивал и развлекал нас, как мог, но получился обратный эффект: души наши были не на месте, а дурдом, он и в Африке дурдом, и от психов можно было ожидать чего угодно.

Проходя по больничному двору, санитар указал нам на казах, похожего на гориллу: «Этот буйный, но сейчас он после укола и не опасен, а не так давно он, перемахнув через двухметровый забор на женскую половину, чуть не порвал женщину на две половинки, раздвигая ей ноги: они же здесь все ходят только в одних рубашках, никаких трусов или лифчиков

не положено, да вы и сами убедитесь. В деревянном заборе психи выбили большой сучок, и с двух сторон сразу образовалась очередь: с одной стороны сексуально озабоченные дурочки, а с мужской – сексуальные маньяки, которых здесь тоже хватает, вот тебе и дураки».

Кроме служебных помещений дверей нигде не было: ни в спальнях, ни в туалетах, больные должны были быть постоянно на виду и ни в коем случае не предоставлены сами себе, это, как нам объяснили, во избежание суицида.

В женском отделении лежали и вполне здоровые на вид женщины: это были алкоголички, были и старые, и молодые, и даже совсем юные особы, среди них были и убийцы, чего никогда не подумаешь. Из-за жары многие женщины лежали, сидели или ходили вообще нагишом, ничуть при этом не стесняясь посторонних людей. Когда мы вышли с женской территории, то вздохнули с облегчением: тяжело и больно было смотреть на этих, с виду вполне здоровых людей, сознавая, что многие из них никогда отсюда не выйдут.

На мужской половине санитар уже ни на шаг от нас не отходил и всё рассказывал, рассказывал. С виду блаженные, а что творится в их больном мозгу, никто не ведает, да и они сами. Пока мы делали свою работу, наслушались историй о психах, нервы были на пределе, и на предложение начальства переночевать в пустой палате, но тоже без дверей, мы с братом дружно отказались. Уже выйдя с территории психбольницы, заметили у памятника Ленину ещё и фигуру Ста-

лина, причём живого. Он стоял в той же позе, что и Ленин, но в форме маршала, с большими красными звёздами на погонах и множеством орденов из жести на груди. Он стоял неподвижно и не мигая, впрочем мигал он или нет, толком было не понять, потому что это был Сталин – казах. Это был тихо помешанный или, как здесь говорят, «тихий»; они не опасны, но и неизлечимы в отличие от буйных. Сталин, как и все, находился при больничке, питался там, ночевал, но после завтрака сразу заступал на пост, опасаясь, что без него на страну кто-то опять может напасть, или ещё что-нибудь в этом роде.

Из огня, да полымя

Надвигалась ночь, но мы с братаном решили напрямую по степи дойти до трассы, в надежде поймать там попутку. Прошли мы километра три, чувствую, что ноги в кедах за целый день и так сварились, а тут ещё и этот марш-бросок по степному кочкарнику. Не выдержав ощущения противного киселя в обуви, я присел и скинул их, как хорошо и приятно было поначалу, но как больно стало потом – этого не описать. Трава, съеденная отарами овец под самый корешок, была как иголки, которые вонзались мне с стопы, я хотел было опять напялить свои подсохшие кеды, но ноги опухли и опять обуваться не желали. Как-то быстро стемнело, и мы с братаном, потеряв ориентацию, уже брели наугад.

Внезапно откуда-то из темноты выскочили здоровенные, похожие на волков, псы, они, злобно рыча, окружили нас, и мы думали, что разорвут нас по клочкам. Тут из темноты раздался окрик, и эти «церберы» расступились, пропуская казаха верхом на лошади и с винтовкой на плече. Осветив нас мощным фонарём и видя, что мы ещё пацаны и нам нет дела до его баранов, он махнул куда-то в темноту рукой: «Там дорога».

Опять мы бредём по степи, спотыкаясь, час, второй, а дороги как не было, так её и нет. Услышав собачий брех, мы, плюнув на опасность ночного визита и на собак, подошли

к кошарам с овцами и к юрте чабана. Собаки только зарычали и снова улеглись досматривать свои собачьи сны, они не видели в нас опасности: овцы были в кошаре заперты, значит, не разбегутся, а волка они и во сне за версту учуют.

На шум вышел заспанный казах-чабан и тоже махнул рукой, но, как нам показалось, уже в другую сторону, ладно хоть воды солоноватой дал попить, а в остальном хвалёное казахское гостеприимство, увы, не сработало.

И пошли мы с братиком, спотыкаясь, опять в степную темень. Но не век же нам блудить по степи, и мы заметили вдалеке луч света – так могут светить только автомобильные фары. Братан мне: «Вовка, гадом буду, зырь, там ведь дорога». Ан и, правда, где-то через час, хотя я уже орал от боли и падал, мы сидели на бровке шоссейки в ожидании попутки. А вот и он, наш корабль-спасатель, зилок по прозвищу «Захар», гружёный под самую завязку хлыстом-длинномером, и в кабине народу битком.

Но надо быть идиотом, чтобы отказаться от поездки, пусть даже верхом на брёвнах, на верхотуре, да ещё в такую холодную ночь, что мы заметили, как только поехали. Но вот приближаются огни посёлка, где у нас база; на окраине водила тормознул, извинился, сказав, что дальше нам не по пути: нам нужно в посёлок, а ему ехать до города.

Я спрыгнул с машины вслед за братом и, взыв, упал, ноги не держали меня, а распухшие ступни горели огнём. Брат кое-как подымает меня, и мы в обнимку, как подвыпившие

гуляки, бредём в сторону нашей общаги. Уже светало, когда мы ввалились в нашу комнату, где брат налил в тазик холодной воды и велел, опустив в воду ноги, так посидеть и да за одно их и вымыть. Вот так и запомнился мне до самой старости тот случай, и хорошо, что в мире нет ничего вечного, и всё проходит, и нет вечной боли, хотя нет и вечной жизни. И я думаю, что это и лучшему.

Лучшая мама на свете

Оставшись вдовой с тремя пацанами короедами на руках, прабабкой и совсем ещё молодой сестрой, мама вытягивала, тянула всех нас из последних сил. Она работала заведующей детсадом, подрабатывая при этом в другой организации бухгалтером и завхозом, да ещё и по ночам, где-то мыла полы. Дома мы видели её редко, потому что, когда она приходила со своих работ, мы уже спали, и уходила, когда мы ещё дрыхли, пуская во сне слюнку. Молча тянула она свою материнскую лямку, определенную ей судьбой, несла свой крест и ни на что не жаловалась, вот только иногда глядя на нас, она вдруг затихала и долго сидела окаменевшая, глядя в пустоту такими же застывшими, пустыми глазами, уже ничего не видя, ничего не чувствуя. Нас это пугало, и мы начинали теревить её за руки, лезть на колени, звать до тех пор, пока она не возвращалась на землю.

Сначала она недоуменно смотрела по сторонам, всё ещё не понимая, где она и кто это мешает ей витать в облаках или ещё где-то, заставляя вернуться на землю; потом взгляд её прояснялся, она тяжело и горестно вздыхала и опять становилась нашей мамой.

– Ну что, детвора, пригорюнились, папки нашего не стало, – говорила она, – но я же с вами и всегда буду рядом, дождусь вас, уже взрослых, женатых, а, бог даст, и детей ва-

ших, своих внуков понянькаю, тогда можно будет и о смерти подумать, ну а пока у нас, у всех впереди целая вечность.

Мы, маленькие, тогда не понимали этих маминых разговоров: какая женитьба, какие дети, и что такое вечность? И, конечно, непонятен был и смысл маминых рассуждений о вечности, мы жили сегодня, сейчас. И мы, радуясь, что мама ожила и опять стала нашей близкой и понятной, лишь согласно кивали головёнками и смеялись уже вместе с мамой. Она сдержала своё слово: вырастила всех нас, только уже пятерых, и внуков дождалась, а выполнив свой долг, ушла из жизни, но не из нашей памяти.

Это сейчас, когда уже в годах, я стал понимать, что мама каменела и смотрела остановившимся вдруг взором, в прошлое: она опять видела войну, бомбёжки, оккупацию и все ужасы тех военных лет. Она вспоминала своего мужа, нашего папу, пришедшего с войны израненным и после долгих скитаний по госпиталям умершего дома. Такое не забудется никогда, а в то послевоенное время, когда всё ещё было свежо в памяти, у людей ещё оставался страх, что это может вернуться, повториться. Мне сейчас кажется, что этот страх сохранялся и сопровождал её всю жизнь, а сейчас он живёт и во мне, но это не животный страх за себя, это страх за наших детей и внуков, страх за жизни тысяч молодых парней, которых может забрать война.

Сколько себя помню, мама всегда старалась вылезти из нужды, но верхом её желаний, конечно, была мечта выве-

сти нас в люди, то есть дать образование, а слово «инженер» для нее было синонимом слова «бог». Думаю, что и замуж она вышла за отставного майора-фронтовика, через два года после смерти папы из-за нас, хотя она и сама была ещё не старой и ей тоже нужна была опора в жизни. То, что мама всегда отдавала нам самое лучшее и самое вкусное, мы в своём детском понимании, в своём детском эгоизме воспринимали как должное и свято верили в то, что она сыта или просто не хочет.

Мы никогда не были капризными, одежонку носили ту, что была, ели всё, что могли себе позволить, а такое лакомство, как конфеты «подушечки» или леденцы «монпасье» в круглых красивых коробочках, было верхом наших желаний. Иногда к нам приезжали гости, вся папина родня (они почти всегда приезжали на годовщины папиной смерти): ехали из Одессы, Мариуполя, Сталино (Донецк), из города Снежное и ещё с многих мест; и хотя взрослые скорбели, для нас, детей, это был праздник, потому что они всегда привозили много всякой вкуснятины и нам казалось, что все они очень богатые и счастливые люди. Нам было невдомёк, что они приехали не просто так, а помянуть папу, провести маму и нас, троих пацанят, свою родню и что всё это угощение было куплено, возможно, на последние деньги, а дома у них тоже трудная жизнь и дети, которых тоже нужно было одевать, кормить, воспитывать, ставить на ноги.

Однажды наша мама исчезла, пропала. Тётка Люда ходила

опухшая от слёз, а бабушка плакать уже не могла – она только постоянно молилась перед иконой, била поклоны с мольбой и надеждой, смотря на лик богородицы. Так прошла, кажется, вечность, пока маму не привезли из больницы другого города: она была вся в бинтах, на лице, на подбородке были свежие красные швы, но она была жива, и для всех нас это было счастье. Мы, мальчишки, долго не отходили от неё, боясь, что она опять исчезнет, но только уже навсегда, как папа и сестра Неля. Но время шло, мама поправлялась и уже сама стала гнать нас на улицу побегать. Санитары ей уже были не нужны, да и бабушка всегда рядом, которая, несмотря на свои почти сто лет, шустрила, успевала и нас всех накормить и в саду с огородом всё полить, прополоть, созревшее собрать, да и про наше небольшое хозяйство не забыть, козу, курей и кроликов.

Уже потом, через несколько лет мама рассказала нам о том, как их с подругой, чего-то испугавшись, понесли лошади, она пыталась их остановить, натягивая вожжи изо всех сил, но кони только становились на дыбы и, отвернув головы в стороны, несли дальше. В какой-то момент телега, задев за столб, развалилась, мамина подруга вылетела, упала на землю, а маму вместе с обломками телеги тащило по земле, пока какой-то неробкого десятка мужик, быстро оценив ситуацию, не отпрыгнул, как все в сторону, а широко расставив руки, встал прямо перед мордами взбесившихся лошадей. И кони, в последний раз став на дыбы, остановились

как перед каменной стеной; они в страхе косили безумными глазами, дрожали, с них опадала пена – они были загнаны.

Мама была спасена, и пока мы ждали скорую помощь, она была в сознании и видела, как тот же мужик водил чужих лошадей по кругу, давая им остыть и успокоиться, иначе они могли погибнуть, особенно если допустить их до воды. Во здравие того, неизвестного мужика, спасшего маму, бабуля в церкви поставила не одну свечку; он избавил нас от полного сиротства и дай бог ему здоровья на многие лета, а если уже преставился, то пусть будет ему земля пухом.

«Добытчики». Когда уже мама могла ходить и что-то потихоньку делать по дому, она как-то попросила нас, старших, меня и Мишку, сходить к папиной сестре, тётке Варе с запиской, в которой просила ту одолжить нам на еду немного денег. Идти нужно было на окраину нашего большого посёлка, а это для нас уже было небольшое приключение из-за самой дороги, железнодорожного переезда, уличных собак и ватаг мальчишек, всегда готовых к драке с чужаками, забредшими на их территорию.

Мы с братаном шли как партизаны, и хотя не ползком и огородами, но с осторожностью, где-то проходили с наглым и независимым видом, а где-то пролетали стрелой, пока враг не понял, кто мы и откуда. Это срабатывало, но не всегда – на одной из улиц нас неожиданно окружила банда таких же, босоногих уличных «Гаврошей». То да сё, «кто такие», «откуль будете», а «чо мы вас не знаем», ну и так далее. Они

отвлекали нас от дальнейших действий, заговаривая нам зубы и ожидая ещё подкрепления, хотя их и так было больше, чем нам хотелось бы.

Нам пришлось бы совсем худо, не проезжай мимо нас «полупорка», она на ухабе притормозила и не успела опять добавить газу, как мы с братухой уже висели, уцепившись за задний борт, и показывали нашим врагам «фигушки». Когда они поняли свою оплошность, уже было поздно, шофёр дал газу и догонять нас, конечно, никто не стал – это было бесполезно и им пришлось только погрозить нам вслед кулаками.

Тётя Варя, как всегда, встретила нас приветливо: накормила, напоила и отправила во двор, где стояли качели, и можно было покачаться и просто так побегать, пока она немного вздремнёт, а вставши, напечёт нам пирогов, или налепит вареников с вишнями, хотя нам хотелось и того, и этого. Сытые, мы довольно долго играли во дворе, качались на качелях, бегали, пока нас не потянуло за сарай, где был туалет. Вот там-то, под забором я и нашёл двадцать пять рублей одной большой сиреневой бумажкой, только вот она была зачем-то вся в проколах, будто истыкана иголкой. Не придумав ничего лучше, мы отдали эти деньги тёте Варе, потому что знали, что брать чужое нельзя – это и грех и просто нехорошо.

Потом мы поели вареников с вишнями, а ещё горячие пирожки с картошкой, а другие пирожки, с яйцом и зелёным луком, она завернула в узелок как гостинец нам домой. По-

ка мы гуляли да ели, совсем забыли, зачем нас мама послала, и, вышло, сами сыты и ладно, и про мамину записку мы вспомнили, когда уже шли домой. В порыве раскаяния, мы заклеямили себя позором и стыдом, хотя на самом деле хорошо помнили, зачем шли к тётё Варё, просто сразу не спросили, а потом, после такого замечательного угощения, как вареники с вишнями и пирожки, нам стыдно было просить ещё и денег. Ну а найденные деньги ведь были не наши, а мы твёрдо знали, что брать чужое нехорошо, вот и отдали тётё Варё, посчитав, что это она потеряла, хотя не знает и не помнит. Это были плоды воспитания и мы, наверное, уже с пелёнок знали, что хорошо и что плохо, что можно делать, а что ни-ни, и мы просто ни морально, ни физически не могли взять чужое, если не считать озорное воровство яблок в чужом саду или помидор на совхозных грядках. У нас, у всех были свои сады и огороды, где всё то же росло и произрастало, но дома это было не то, не хватало риска, остроты ощущения, которое испытываешь, попадая в руки хозяина сада, или когда верховой объездчик совхозного добра обожжёт тебе спину и задницу ударом бича или кнута.

Домой мы пришли почти затемно, испытывая чувство вины перед мамой, она спросила нас о деньгах, а мы стояли и молчали, не зная, как оправдаться, пока Мишка радостно не сообщил маме, что мы нашли двадцать пять рублей. Мама оживилась и спросила:

– Ну и где же эти деньги?

– А мы их тётё Варе отдали, ведь это, наверное, её деньги были.

Мама заплакала:

– Эх вы, добытчики, даже то, что нашли, и то отдали, ведь те деньги к ним за сарай просто ветром занесло, а тётя Варя не тот человек, который может вот так, запросто потерять хоть рубль, а вы просто ещё не знаете цены деньгам, дурачки, вы мои, глупыши.

Да, в пятидесятые годы двадцать пять рублей – это были приличные деньги, вспоминая и судя по ценам тех лет, но делать нечего, и мама сама собирается идти к Тётё Варе, потому что занять денег больше не у кого, все соседи вокруг нас такие же бедные, как мы. Маме больно ходить, она даже стонет от боли, но взяв в руки бабушкину палку и почувствовав себя уверенней, она двигается в путь. Приход мамы мы, конечно, проспали, но встав по утру, мы обнаружили на столе свежие булочки «Сайки» и большой серый круг житного хлеба с дыркой посередине, который можно было, как и сайки, есть просто так, без ничего. И ещё один эпизод из того, нашего детства запомнившийся мне на всю жизнь – это покупка селёдки, которую мы даже лежалую и ржавую, тоже считали лакомством. На селёдку мы налетали как голодные чайки, особенно уважая икру, впрочем, как и всё остальное. Маме обычно доставалась голова и хвостик с пёрышками, и она нам говорила, что это её любимые кусочки и подолгу смаковала разобрannую селёдочную голову и страшно солё-

ный хвостик.

Уже через годы, встав взрослым, я приезжал к маме в гости со своих северов и всегда привозил много вкусной, деликатесной рыбы – это были и чир, и муксун, нельма и осетрина со стерлядью, привозил ей енисейских и байкальских омулей, ешь не хочу. Но мама, как обычно, всё попробовав и похвалив, попросила купить ей просто селёдки, я, конечно, удивился, но сходил и купил ей прекрасную малосольную, очень вкусную сельдь, отварив картошечки, мама ела селёдку, не притрагиваясь к самым якобы лакомым для неё голове и хвосту. Решив подшутить над ней, я спросил:

– Мам, ты что, разлюбила головы и хвосты?

– А я их никогда и не любила, а ела их только потому, что вам всегда и так мало было, а мне тоже хотелось посолонцеваться, побаловаться селёдкой.

Вот те на, а мы, ребятня, искренне верили в мамину любовь к селёдочным головам и хвостам.

– Мам, так, может, ты и рыбу, которую я привёз именно тебе, не ешь по той же причине?

– Да нет, сын, просто я не привыкла к таким деликатесам, а селёдка, нашенская, родная и привычная, а ту вы уж сами кушайте.

И тут я понял, что причина опять та же с нашего детства, и она опять хочет, чтоб той дорогой, царской и очень вкусной рыбы досталось больше нам детям и внукам.

Мы с братом Михеичем работали на Крайнем Севере,

но в разных областях, встречались редко, да и наши не частые приезды к маме с отчимом как-то не совпадали. Вот и в тот, последний, приезд брата я опять не застал, хотя мы и договаривались о встрече у мамы. Соскучившись по пенному напитку, я на другой день решил наверстать упущенное за много лет удовольствие от старого, доброго советского «Жигулёвского», потому что все эти годы я частенько ностальгировал по запаху и неповторимому вкусу этого пива; то, что сейчас продают или подают в забегаловках, лишь жалкое подобие божественного напитка. Утром я не стал тянуть со сборами и, накинув на плечи куртку и взяв небольшую канистру, направился в некое злачное место, где ещё по старой памяти всегда было свежее бочковое пиво.

Мама уже почти вдогонку сказала, что пока я хожу, она приготовит нечто такое, что пальчики оближешь, меня это, конечно, заинтриговало и тянуть с возвращением я не стал, хотя раньше у меня были совсем другие планы: как-то встретиться старых друзей и знакомых, попить с ними пивка, покалякать о жизни, ну и т. д. Уже подходя к дому, у меня в пустом животе заурчало, а рот наполнился слюной от предвкушения бокала пива и вкусного обеда. Открываю дверь в квартиру и в нос мне ударяет запах говяжьей тушёнки, брр. Мама:

– Сынок, угадай, что я тебе приготовила.

– Мам, извини, но открывай форточку и выбрасывай это блюдо вместе со сковородкой, мы на буровой, в тайге почти

год сидели на одном этом деликатесе, и меня сейчас тошнит от одного этого запаха.

– Так можно мы с отцом съедим её – она такая вкусная! Это Миша когда приезжал, привёз четыре баночки, сказал, что взял её в дорогу, мы не удержались и одну съели сами, а три я спрятала для тебя.

– Ну, мам, ты даёшь, могла бы и написать, уж ящик тушёнки я как-нибудь довёз бы вместе с рыбой.

Зачем всё это я рассказываю? Я хочу, чтоб мы все понимали и ценили самопожертвование наших мам и их готовность отдавать детям последнее, защитить нас от плохих людей и собственных, необдуманых, дурных поступков, И неважно, что её кровиночка в начале своей, такой большой жизни, или ему уже давно за сорок, и он уже почти на излёте своего жизненного пути, для наших мам мы всегда будем оставаться её ребёнком, которого нужно всячески опекать, оберегать, помогать во всём, по-прежнему забывая о себе.

И напоследок я хочу привести напутственные слова нашей мамы: «Дети, куда бы судьба вас не забрасывала, где бы вы ни были, как бы ни сложились ваши жизни, помните обо мне и знайте, что я всегда вас жду. Возвращайтесь убитые нищетой иль довольные жизнью, возвращайтесь голодные и больные, трезвые и пьяные, грязные и вшивые. Возвращайтесь, какими бы вы ни были, я всё пойму и всех приму. Обогрею, пожалею, вылечу, поставлю опять на ноги, отругаю, научу и опять пушу в полёт, а если кто-то из вас, устав от даль-

них дорог, захочет остаться со мной, буду только рада. И улета-
тая, всегда помните, что у вас есть мама, которая ждёт всегда
не только вас, но и ваших детей, моих внуков, и что только
тогда я успокоюсь, зная, что род наш на вас не кончится, –
так хотел ваш отец Гамаюн Алексей Фёдорович, так хочу и я,
ваша мать».

Думаю, что это слова не только нашей мамы, но и всех ма-
терей, боящихся как потерять своих детей, так и боящихся
забвения с их стороны и всегда ждущих их со страхом и на-
деждой. Так не будем же жестоки по отношению к ним, дав-
шим нам жизнь, а старость и нас не минует, и мы так же бу-
дем смотреть, с тем же страхом и такой же надеждой и радо-
стью на дорогу: «А вон вдалеке кто-то появился, это наши!
Мать, накрывай на стол, а я пока баньку погляжу да веничек
распарю». На том и стоит жизнь и мы в ней.

Динга

Её звали Дингой, но я и сам не заметил, как переименовал её просто в Дину, это, наверное, оттого, что мою девушку, с которой я дружил на БАМЕ, звали именно так. Динга тоже была «девушкой», но она была сукой и не просто сукой, а овчаркой чистых кровей. Но всё по порядку.

Я много лет работал на Севере, где собака, действительно, друг, помощник и брат наш меньший, это не просто как в рекламе: «три в одном», она ведь ещё и сторож, и охотник, и ездовой транспорт. Собака, после человека, самое умное существо, не зря ведь дети, так чувствующие доброту, уговаривают родителей на свой день рождения подарить не телефон или компьютер, а друга, щенка, с которым можно играть, которого можно воспитывать и который, в отличие от человека, никогда не предаст и не бросит хозяина. Как передать радость собаки при встрече с хозяином и другом, когда пёс от радости и восторга иной раз готов откусить себе собственный хвост.

Я превозношу собачье племя, как ангелов во плоти, но с хвостом, только не надо забывать то, что у этого «ангела» есть ещё и зубы, которые могут рвать любую плоть до кости, а то и горло перехватить. В любой собаке сохраняются звериные инстинкты, которые никогда не надо провоцировать; брошенная собака быстро дичает, и если она встречает

себе подобных, они как и волки, сбиваются в стаи. И тогда – берегись человек, ведь она знает людей, и у таких вот, одичавших собак, нет страха перед человеком, в отличие от волка. Любой собаке нужен хозяин, вожак, которого она признаёт, любит и боится, а иначе нельзя – такова собачья, на уровне древних инстинктов, психология; вожак лишь тогда достоин уважения и полного послушания, когда он сильнее любой собаки.

В 1977 году я, почти после пятилетнего отсутствия, прилетаю с севера к родным, чтобы напомнить о своём существовании, хотя точно знаю, что самый лучший способ напомнить о себе – это денежные переводы, которые дают родным уверенность, что я ещё жив. А по приезде они даже не спрашивают меня, почему ты, чёртов сын, так долго не писал, ведь самые красивые и душевные «письма», правда, на разные суммы и из разных мест, они получали регулярно.

Как и всегда, я никого не предупредив, прилетаю и звоню пока в незнакомую дверь, потому что, пока меня где-то носило северными ветрами, родные наконец-то получили новую трёхкомнатную квартиру. Это большое и очень важное событие для людей, которые много лет прожили в эковском городке, в бараке за городом. И я от души рад за нашу семью и, конечно, за себя, может, хоть здесь, почти в центре города, мне не придётся отбиваться от уроков, делавших пальцы веером и ботавших по фене.

Я дома

На мой звонок из-за двери раздался грубый собачий лай и, судя по децибелам, собаки серьёзной. Тут дверь открывается, и мама даёт кому-то команду: «Фу, Динга». Ну а дальше, как всё и должно быть по ходу пьесы, мама говорит: «Ой!» и виснет на мне, а через её голову четвёртый, самый младший и самый длинный, братан басит: «Чё вы через порог, ты что там, так и будешь стоять до отъезда?» Наконец мама догадывается отойти в сторону, приглашая меня войти, но только я шагаю через порог, слышу грозное: «rrrrrr». Братан уже командным голосом: «Динга, фу, свои, место!»

Недоверчиво косясь на меня, громадная овчарка неохотно идёт в другую комнату и ложится на свой коврик, размером с нормальный матрас. Ну а дальше всё идёт по старому сценарию: охи, ахи.

«Да что же ты, сынок, даже не предупредил нас?» – «Предупреждают, мам, чужих людей, чтоб не приехать не ко времени, а я приехал домой, а потому будьте мне рады и скорей накрывайте на стол, но сначала, для торжественного получения подарков, подбегай по одному. Ты, мам, как и всегда, без очереди». Гостинцы и подарки разошлись как горячие пирожки, и вся родня сделала вид, что премного довольна, а местами даже счастлива.

Маман срочно командует «младшенького» (дылду) в гастроном, и я тоже, хорошо зная маму, успеваю сунуть

брату деньги. Он испуганно глянул на купюры, глаза у него сделались квадратными: «Что, на все?» – «На все, на все и про пиво и сигареты не забудь», – «Так мне придётся делать две или даже три ходки?» – «Хоть четыре, это уже твои проблемы». – «Так, может, я сначала всё в подвал занесу да между бочек спрячу, а потом потихоньку и будем доставать, не то маму инфаркт хватит, она же уверена, что одной бутылкой водки весь дом спить можно». Пока младший выполнял моё и мамино поручение, по звонку мамы приехали ещё два брата со своими маленькими чадами и взрослыми домочадцами. Мама до слёз рада: «Слава тебе, Господи, хоть раз все собрались, слетелись, а я уж думала, что не увижу вас всех вместе до своих похорон».

Младший, Толян вернулся с покупками, всё отдал маме, заскочил в свою комнату, и там что-то звякнуло, но я сразу понял, что это: одна звенеть не может, а две звенят не так, значит, на первое время нам, четверым мужикам, хватить должно, а там перейдём и к запасам из подвала, куда сейчас Толик доставит и пиво, и достаточное количество водки, благо, что квартира находится на первом этаже, а сам подвал под квартирой. Это как раз то, что называется, в шаговой доступности, мечта домохозяйки и алкоголика.

Накрывая на стол, мама загорелась желанием угостить меня домашними бочковыми соленьями, до которых я всегда был большой охотник, да и на стол ведь надо. Тут возвращается уже счастливый братан, и мама посылает нас обоих

в подвал за капусткой, огурчиками да помидорчиками; как в воду глядела старая и будто знала, что нам туда нужно позарез.

Застолье

Спускаемся в подвальчик и, мама миа, что за божественный запах царит здесь для меня, давно забывшего запах укропа, чеснока и всего того, чем только могут пахнуть все эти соленья. Человеку средней полосы и южных районов никогда не понять, что самый лучший северный посол огурцов, помидоров и капусты, в банках же не идёт ни в какое сравнение с теми же овощами, но бочкового посола. И ни в какой банке не получится хрустящего, ароматного огурчика или готового лопнуть от избытка сока и рассола помидорчика. Братан показывает, где затарено спиртное, мы набираем чуть ли не ведро солений, не забывая и про капусту, и несём домой. Мама, конечно, удивилась нашей жадности, но мы дали слово, что ни одному огурцу или помидору в мусорное ведро дороги не будет и что всё пойдёт в дело, так оно и случилось.

Посидели мы хорошо: от закусок, как и положено у русских, ножки стола подгибались, пиво мы пили из больших фужеров, а водку – как японское саке – из маминых напёрстков, при этом делая вид, что она доходит до горла; на самом деле эти граммы растекались по языку, и в желудок попадала только противная слюна. Но в спальне у брата стояла и вод-

ка, и нормальные гранёные стаканы и, исчезнувшая у мамы прямо с кухонного стола, большая миска с филе малосолевой мойвы, закусь что надо.

Два брата с семьями скоро откланялись: им утром на работу, они вызвали такси и уехали. Мама была просто счастлива оттого, что все почти трезвые, а в бутылке на столе даже немного осталось: «Вот видите, дети, всем хватило, вот что значит, культурно пить. А мы с ней и не спорили и во всём соглашались, а потом пошли в спальню к Толе и вдвоём допили последнюю, пятую бутылку водки, а то, что находилось в подвальчике, пусть полежит до завтра или до лучших дней.

Часть 2. Всё о Динге

Когда мы наконец-то уселись за стол, Динга как член семьи тоже находилась рядом и, пуская слюну, вдыхала запахи праздничной еды, но если кто-то обращал на неё внимание, стыдливо отворачивалась, она как собака серьёзная, клянчить не привыкла. Наконец мама спрашивает: «Динга, а где твоя миска?». Та метнулась на кухню и вернулась со своей миской в зубах, она положила миску на колени маме и вопросительно уставилась на неё: «Ну и чем вы меня угостите?». Мама стала накладывать всего понемножку: «Динга, колбаску будешь?» – «Гав». – «А косточек с мясом?» – «Гав, гав. Гав». – «А пельмешек?» – «Уууу». – «Ладно, вот тебе ещё огурчик солёный, и хватит», – «Рррр». – «Динга, иди на своё место, там и ешь». Унести миску она теперь не сможет, но со-

бачья смекалка срабатывает: Динга носом аккуратно толкает миску на кухню и уже там, в одиночестве пирует.

Отметили мой приезд, гости разъехались, мама убрала со стола и стала стелить мне на диване в зале, но тут, глядя на это вторжение на свою территорию, Динга возмутилась – это ведь её ночной диван, где она отдыхает после ночного обхода квартиры и обследования входных дверей и всех окон, но мама сказала ей: «Динга, место», и она безропотно ушла на свой коврик возле маминой кровати.

Я моментально уснул – сказалась дорога, перелёты, пересадки, волнительная встреча, ну и, конечно, выпитая водка. Ночью просыпаюсь от желания избавиться от излишней влаги в организме, хочу встать, но тут раздаётся предупредительное «рррррр». Я так и застыл, думаю, шевельнусь – бросятся на меня, но мочевой пузырь о собаке ничего не знает и требует своего.

Нужно кого-то звать на выручку: «Маа. Маа». Наконец из спальни слышен мамин голос: «Тебе чего, сынок, может тебе плохо?» – «Мам, мне очень хорошо, но если ты не убеждёшь Дингу, я как в детстве обмочусь, а она меня не пускает в туалет». – «Динга, место!». Голос у хозяйки раздражённый, и овчарка, проскальзывая лапами по скользкому полу, спешит к маме. Та ей что-то говорит и, как я понял, ругает. До утра никто меня не беспокоил, а утром пришла Динга, положила тяжёлую голову мне на колени и долго, не мигая, смотрела мне в глаза, словно пытаюсь понять, что я за че-

ловек, и почему я здесь нахожусь. Потом, словно уже сделав какие-то выводы для себя, она с облегчением вздохнула и улеглась на пол, у моих ног, и тут до меня дошло, что я понят и принят за своего, а значит, за вожака, которому нужно подчиняться.

В следующую ночь я проснулся от чувства, что кто-то на меня пристально смотрит, не шевелясь, я приоткрываю глаза и в свете уличных фонарей, светящих сквозь тюлевую занавеску, вижу Дингу. Она, не спуская с меня глаз, поставила одну ногу на диван, потом немного подождав, другую, потом осмелев третью, а оставшись только одной лапой на полу, она легонько, как ей, наверное, казалось, перемахнула через меня к стенке и, облегчёно вздохнув, растянулась во весь рост рядом со мной. В таком положении она была едва ли не выше меня. Утром мама застала нас спящих в обнимку, правда, Динга давно проснулась, но лежала, боясь пошевелиться, чтоб не потревожить меня, но при голосе мамы она посчитала свои обязанности по охране меня оконченными, и она, опять перемахнув через меня, поспешила поздороваться с хозяйкой.

Утром, за завтраком мама рассказывает мне всё о Динге: её взяли в служебном питомнике, где некоторое время работал отчим, собачонку просто выбраковали, одну из всего помёта, как несоответствующую по каким-то критериям, существующим для элитных служебно-поисковых собак. Но все соответствующие документы: о породе, экстерьере, о поро-

дистых медалистах и всему прочему, папе с мамой всё же дали. щенка и друга, и ей пришлось всё, что бы она не вытворяла, а дворовая ребятня в ней души не чаяла. Она бегала с ними наперегонки, она изодрала им не одну пару штанов, а о футбольных мячах и всему, что круглое и катится, и говорить нечего. Мама замучилась покупать мальчишкам новые мячи, потому что Динга просто тащила от удовольствия, когда очередной мяч шипя выпускал дух. Потом её сделали вратарём, и не было ни в одном дворе лучшего голкипера, вот только мячик при таком вратаре, использовали уже прокушенный, и это тоже было ей в кайф, потому что его можно было терзать и кусать сколь угодно.

Но время шло, она быстро выросла, мальчишки, друзья детства стали её побаиваться, а поскольку Динга хорошими манерами пока не страдала, то её, как и положено, породистой овчарке, для обучения хорошим, собачьим манерам и прочим собачьим премудростям отдали в собачью школу, где она и провела полгода. Брат почти постоянно пропадал тоже там, проходя курс молодого бойца вместе с ней. Эту школу я бы назвал собачьим кадетским корпусом: со всеми науками, муштрой и даже с собачьим служебным уставом и своим собачьим кодексом чести. Вернулась она из этого кадетского корпуса строгая, возмужавшая, если только можно так говорить о собаке. У неё даже появился свой военный билет, вернее, просто документ, из-за которого её могли призвать на службу как служебную собаку, прошедшую

обучение, в любой момент.

Больше всех Динга любила, конечно, маму, она редко оставляла её одну, и они как подружки, подолгу беседовали. Мама ей что-то рассказывала, а та поворачивалась к ней то одним ухом, то другим, иногда, словно всё понимая, она кивала головой на согласие, то отрицала что-то, качая головой из стороны в сторону, а, бывало, слушая мамин рассказ про войну, она словно всё понимая, начинала рычать, а то и гавкать. Чтоб успокоить расстроенную маму, она клала голову ей на колени (как и мне) и, поскуливая смотрела ей в глаза, успокаивала и словно говорила: «Ну что ты, успокойся, я ведь рядом».

Иногда мама, приходя с улицы, где она сидела у подъезда, на лавочке, снимает уличные тапки и, забыв одеть комнатные, проходит босиком в комнаты. Уже усевшись у телевизора в кресло, она замечает, что прошла босиком, но я знаю, что это сделано нарочно, она по старой деревенской привычке любит ходить без обуви и по травке, и, на худой конец, по деревянному полу. Чтоб продемонстрировать мне понятливость своей любимицы, она просит Дингу принести от порога её тапки, Динга приносит просимое, но только в одном экземпляре, а я хохочу, и та, словно поняв, опять хватается зубами тапок и тащит к порогу, и только потом виновато приносит оба тапка, ну плохо у неё с арифметикой, а в собачьей школе их счёту вообще не обучали.

Один раз с ней случился постыдный казус, но по нашей

вине, а собака была совсем не виновата. Старший брат пригласил всех нас в гости, так сказать, с ответным визитом, а Дингу пришлось оставить дома, потому что нас и так много, да и не один таксист с этим волком, даже в наморднике, в такси не посадит. Мы оставили ей достаточно еды, забыв, что собака весом под восемьдесят килограммов – это не кошка, которая какает в лоточек, да и рассчитывали вернуться домой в этот же вечер, но ведь собаку нужно выгуливать не просто каждый день, а утром и вечером, и это как минимум. Вернулись мы только на следующий день, обычно Динга, встречая кого-то из семьи, уже маячит в окне, а потом, слыша знакомые шаги, она стрелой летит к дверям.

Заходим в квартиру – тишина, мама не разуваясь, вся в испуге, как молодая летит по комнатам и чуть не влетает в кучу собачьего дерьма прямо посередине её спальни. Бедная Динга забила под мамину кровать и, пряча виноватые глаза, скулит, но вылезать отказывается. Мама и так, и эдак просит ее: «Динга, вылезай, ты не виновата». Но всё бесполезно.

Наконец маман, догадавшись, берёт щётку, лоток, тазик с водой и тряпкой, и, быстренько всё убрав, она опять пытается выманить собаку, та, недоверчиво поглядывая на то место, где она навалила кучу, опасливо вылезает из-под кровати, нюхает то место, где она была, и сразу становится веселей: раз её греха не видно, значит, и вины нет. Мама уже сотый раз извиняется перед ней, а потом, спохватившись, кричит Толику: «Сын, хватай поводок и марш с собакой на ули-

цу, пусть пробегаются да в туалет по-нормальному сходит, не то испортим собаку таким обращением.

Когда Динге хотелось побегать в скверике, а заодно справить собачью нужду, она, встав на задние лапы, сдёргивала с вешалки свой поводок с намордником и вручала маме или тому, кто окажется в квартире. В собачьей школе она уяснила раз и навсегда, что в городе без поводка и намордника таким овчаркам как она, находиться не положено, да и как-то даже стыдно, ведь она не шавка какая-то с позорным бантиком на шее. У неё у самой был и личный собачий жетон со всеми её данными и даже медаль за какие-то соревнования, которую она, из-за прирождённой скромности, не носила.

В магазин, который совсем рядом с домом, одну хозяйку она не отпускала, сначала вручала маме поводок, потом брала в зубы хозяйственную сумку, и дальше они шли рядышком, как две подруги. Мама говорила ей, что нужно будет купить, а та, словно понимая, внимательно слушала, обратно Динга гордо несла покупки, а на попытки мамы забрать у неё тяжёлую сумку, даже шутя рычала.

Однажды с нами произошёл забавный случай: мы с Дингой, как обычно, вышли погулять, и она, зная мой обычный маршрут, потянула меня к гастроному, где я обычно покупал сигареты, свежее пиво и иногда бутылочку хорошего сухого вина. У дверей магазина я велел ей сидеть, держа зубях поводок (с мамой и со мной она ходила без намордника), а сам

зашёл во внутрь. Не успел я стать в небольшую очередь, как ко мне подошли двое из тех самых, приклатнённых, но каких-то несерьёзных парней, школу общения с которыми я прошёл ещё в юности, живя в эковском городке, где собственно и вырос среди блататы и уркаганов, которые потом даже провожали меня на службу в ВМФ.

Я не услышал от них ни здрасте, ни извините за наглость, но ... «мужик, дай двадцать копеек, на бутылку „плодово-выгодного“ не хватает». А плодово-ягодное стоило рупь двадцать, невелика цена, оттого и стала эта бормотуха «выгодной». Спрашиваю: «А сколь у вас есть?» – «А вот ты сейчас дашь двадцать коп, ровно столько у нас и будет, а там ещё подойдут такие же лохи, как и ты, вот, глядишь, и наскребём на опохмелку». – «Ну вы и наглецы, ну да ладно, винища я вам куплю, настроение у меня хорошее, а вы расскажите, как докатились до такой жизни».

Тут чувствую рядом грозное «rrrrr», и бичей сразу как ветром сдуло. Динга, почувствовав для меня опасность, нарушила приказ и пришла на выручку. Купив, что мне было нужно и бутылку вина, я взял её за поводок и, на всякий случай, одел намордник, болтавшийся на ошейнике. Выйдя из магазина, я увидел бичей, стоявших довольно далеко от входа, подозвал, отдал им вино и хотел уже уходить, как один из них спросил: «Твоя собака? Ну зверюга, мы с ней как-то уже были знакомы, едва ноги унесли». То, что они уже были знакомы, я понял по поведению Динги, которая

рвалась с поводка, внушая страх даже в наморднике. Уже отходя, один из них, обернувшись, сказал: «А мы ведь хотели за углом отovarить и обчистить». Вот те на, вот и жалеё их после этого, и я пообещал им вслед: «Мужики, если я ещё раз, хоть издалека увижу ваши морды, не обижайтесь, и я сделал вид, что отстёгиваю намордник и поводок, а Динге подал команду «голос», та так рывкнула, что бичей как ветром сдуло, теперь их долго никто здесь не увидит.

Вскоре я улетел опять на Север, и о дальнейшей судьбе Динги знаю только из писем мамы. Когда Динге пришла пора стать мамой, её отвезли в тот же питомник, откуда и взяли, и где её уже ждал «жених» с очень хорошей родословной. По истечении времени, положенного природой, она родила четверых щенят: двух мальчиков и двух девчонок. Сама мама была, конечно, рада, но за её щенками давно стояла очередь, а мы даже не имели права продать или отдать на сторону ни одного щенка – таковы правила в обществе собаководов. Тем более, что овчарки – это сторожевая, служебно розыскная порода.

И как только для щенят пришла пора отвыкать от маминной титьки, троих за хорошие деньги забрали очередники, и остался в семье только один «парнишка» по кличке Джек. Он быстро рос, мастью он пошёл в папу, почти чёрного здоровенного пса, и когда он перерос маму на голову, и стал есть за троих, было решено продать Дингу.

Мама с отчимом к той поре жили одни: младший брат

служил, я жил и работал на северах, средний и старший брат работали тоже Севере, на ЛЭП-700, а на стариковскую пенсию прожить с двумя овчарками просто невозможно. Человек, который очень хотел иметь в хозяйстве именно воспитанную, дрессированную Дингу, стал часто бывать у нас, чтоб она привыкла к нему и его машине. Никому не хотелось травмировать психику собаки, поэтому вот так, потихоньку она и уехала с ним в деревню, где у того было большое хозяйство.

Джек всё больше рос, он требовал внимания и всё больше еды, дома он перегрыз всю обувь, все ножки стульев и столов, а когда он решил сожрать все подушки и диваны, все поняли, что и его тоже нужно отдавать в хорошие, крепкие руки. Да и справиться с ним уже никто не мог. Этот «телёнок» решил, что он главный не только дома, но и везде. Он не знал дисциплины, и с ним было просто опасно появляться на улице, народ сразу разбежался, а потом строчили на нас жалобы во все инстанции.

Отчим позвонил в общество собаководов, и сразу примчались не меньше десятка знатоков этой породы овчарок. Оценили Джека очень высоко, устроили на квартире что-то похожее на аукцион и чуть не учинили драку. По Джеку мама так не плакала, как по Динге, тем более, что деньги вырученные за обеих собак, оказались очень солидным подспорьем в жизни, но мама поклялась, что никогда больше не будет заводить собак, не нужна ей больше горечь расставаний. А ей

и самой жить оставалось всего-то ничего. Вот о ком я вечно буду помнить и о ком горевать.

Каштанка

Отгремел марш «Прощание славянки», мы сошли с трапа корабля, который был три года нашим домом, и теперь я – штатский, а, вернее, старшина запаса ВМФ. Позади прощание с командой, с друзьями-«годками», длинная дорога домой в медленно ползущем поезде, встреча с родными – всё это уже в прошлом. Впереди у меня заочная учёба в мореходном арктическом училище и работа на китобойной флотилии «Юрий Долгорукий» – такие, во всяком случае, у меня были планы. Но... в ожидании вызова с флотилии и открытия визы заграничаванья прошло почти три месяца, и тишина.

Сидеть на материнской шее я больше не мог, поэтому временно устроился монтажником металлоконструкций на Нефтехимический завод. Как и положено, по закону подлости, в первый же день, вернувшись с работы домой, я получил заказное письмо с Калининграда, порта приписки флотилии, с предложением срочно прибыть для оформления визы и дальнейшей работы на китобойных судах в районах промысла, а это, насколько я знаю, районы Северной Атлантики и Антарктики и не только.

Я радостно кидаюсь к матери с возгласом: «Ура! Я наконец-то дождался своего часа, и теперь у меня в жизни появился смысл, сбывается моя давняя мечта об океанах,

дальних морях, экзотических странах». И опять – но. Никто не понял моего щенячьего восторга и не разделил моей радости по поводу долгого болтания в морской стихии, в рейсах, длящихся по полгода, а мои доводы о дальних странах испугали мать до икоты. Короче, своих денег у меня не было, а родным было выгоднее, чтоб я сидел дома, тупо вкалывал (как все, как все, как все), и чтоб у меня всё в жизни было тоже как у всех, «как у людей».

«Как у людей», я «кое-как» отработал до весны и, никому ничего не объясняя, рассчитался и улетел вместе со своей мечтой в края, не мной придуманные, на СЕВЕР, сроком на двадцать лет.

Но всё это или уже было, или только состоится, ну а пока я после краха своих планов езжу на работу, лажу по конструкциям на верхотуре и строю новые планы в отношении дальнейшей своей жизни.

Доезжаю до объекта, выхожу из автобуса и гляжу в сторону остановки, откуда уже летит, катится шариком, извиляется ящеркой, потом падает на брюшко и ползёт, умильно глядя на меня, что-то похожее на собаку. Её уши тащатся по земле, на её «лице» нарисовано величайшее счастье лицезреть меня, она стонет от избытка чувств и блаженства, она пытается залезть мне на туфель и изойти мочой от невыносимой нежности, которую она испытывает ко мне при встрече. Я едва успеваю отдёргнуть ногу, и благодарственная моча сучонки, девчонки зря проливается на асфальт.

Всё, ежедневный утренний ритуал окончен, я отхожу к нашему «столовому» пеньку и вываливаю на него принесенную для неё еду. Собачьи харчи почти мгновенно исчезают в собачьем желудке, живот ещё больше провисает, хоть колёсико какое привязывай, чтоб он не тащился так безобразно по земле. Она знает, что у меня ещё и косточки для неё припасены, но, убежав немного вперёд, она возвращается и с тревогой вглядывается мне в глаза: «Ты, правда, не забыл мои косточки?» Я утвердительно киваю головой и похлопываю рукой по сумке с моим и её обедом: «Здесь твои мослы, здесь». Она сразу успокаивается и улетает вперёд, на этот раз в раздевалку, к моему шкафчику, ведь здесь хранится вся вкуснота, какая только у нас с ней есть, теперь до моего прихода она будет охранять наш «сейф» от любых посягательств.

Когда я наконец-то захожу в раздевалку, моя сучонка с пеной на клыках отстаивает наше добро от целой стаи здоровенных, голодных мужиков, которые падают от смеха. Срочно выделяю её приличный мосол, и она всё ещё злобно рыча, утаскивает его в свой склад за моим ящиком.

Обрёл я этого друга, вернее, подружку, нечаянно, проходя по территории завода, возле одного из цехов, в куче старого железа я вдруг услышал щенячий плач, разобрав завал, я увидел собачонку, которую какая-то сволочь, нелюдь окунула полностью в «сурик». Щенок был обречён, краска была в ушах, в глазах, пастёнка и та была забита краской, её про-

сто топили в ядовитой краске. Я сразу вспомнил корабельного пса «Боцмана», по которому всё ещё скучал, хоть письма ему пиши. Ему тоже как-то пришлось несладко, будучи по приказу адмирала списанным на сушу, да ещё и на остров в Балтийском море, но его-то мы из изгнания выручали всей командой, а тут, блин, такая история и не знаю, что делать.

Но пройти мимо, бросив эту «кисточку» в краске засыхать, я не мог. Нашёл растворитель, керосин и ещё чего-то едкого, но, как оказалось, самого эффективного. Я тёр псинку, отмывал, промывал, потом купал с мылом в тёплой воде. В тот момент передо мной был маленький, безвинный ребёнок, которого я был обязан спасти, и я его спас.

Потом долго лечил ей глаза и уши, обстриг ножницами почти до мяса всю шерстку и заживлял ей все болячки, кормил и поил из соски, а потом и из ложечки, на ночь укрывал привезенным из дому старым одеялом. Спасение щенка стало для меня очень важным делом, и в этом участвовала вся моя бригада, за что я им был очень признателен. Мы её спасли и обрели искреннего, надёжного, верного друга, который никогда не предаст, хоть она и была девчонкой, «Каштанкой», потому что оказалась каштанового цвета. Вскоре я уволился и улетел на Север, и мне до сих пор жаль мою Каштанку, но надеюсь, что мир не без добрых людей, и она найдёт нового хозяина и друга.

Часть 2. Речной флот

Флот – это романтика, это состояние души, познание мира, становление самого себя как человека, личности. Не бывает бывших флотских, они либо есть, либо их нет. Флот – это болезнь, от которой нет лекарств, и даже если уйдешь с флота по каким-то причинам, тебе ещё долго будут сниться корабли, а это значит, что даже время не лечит, и ты по-прежнему болен флотом.

Затон, начало пути

В семнадцать лет я совершенно случайно попадаю на берег Иртыша в затон. Эта случайность и определила мою дальнейшую жизнь, да и в какой-то мере и судьбу. Жизнь сразу приобрела более чёткие контуры и смысл, и хотя я в ту пору работал, учился, занимался спортом, мне всегда чего-то не хватало, а жизнь казалась пресной, как просвирка для причастия в церкви.

Когда я впервые увидел в затоне вмёрзшие в лёд теплоходы, колёсные пароходы, буксиры и крылатые «Ракеты», стоявшие на кильблоках на барже, у меня внутри что-то перевернулось. Я долго стоял на берегу, представляя себя на палубе одного из них, конечно же, самого красивого, большого и быстроходного. «Метеоры» и «Ракеты» на подводных крыльях были воплощением красоты и скорости и недостижимы даже в мечтах моих пацанских. Ушёл я с берега уже затемно, изрядно задубевший, но с твёрдым решением пробиться на флот, любой ценой.

В январе, узнав из объявления о наборе на курсы рулевых-мотористов, я сразу зашёл в отдел кадров судоремонтного завода. Мне было только семнадцать лет и мне вначале отказали; я их уговаривал, убеждал, говорил, что без флота не вижу смысла в жизни, но главный аргументом у меня стал мой день рождения. Через три месяца, как раз к окончанию

курсов, мне исполнялось восемнадцать лет. Взяли! Три месяца, изо дня в день мы постигали флотские науки: устройство судов, общую лоцию, спецлоцию, двигатели внутреннего сгорания (д. в. с.). Нас учили, как вязать узлы, как на жёстком швартовом конце заплести «гашу», связать из пеньки коврик и сделать швабру, ну и т. д.

Мне всё это было интересно, и эти три месяца обучения пролетели как один миг. Экзамены я сдал на «отлично» и с трепетом и надеждой ждал распределения по судам. В те годы по Иртышу ещё ходили пароходы колёсники, работающие на мазуте, это было, конечно, интересно, но мы учились на теплоходы, а шлёпающие плицами по воде пароходы казались нам мамонтами, доживающими свой век, что так на самом деле и было.

По распределению я попал на самоходку имени разведчика «Кузнецова», она была нового проекта, с хорошими условиями проживания, с тремя глубокими трюмами, закрытыми громадными крышками на рельсах, и грузоподъёмностью до тысячи тонн. Это сейчас я понимаю, что посудинка была так себе, но в ту пору она казалась мне белым лебедем, мечтой. Ну а пока мы стоим в затоне, заканчиваем покраску судна, главные дизеля давно готовы, дизель-генератор тоже – всё на «товсь».

И вот первая стояночная вахта, первая ночь на судне, и я не могу надышаться флотскими запахами. Это запах воды, свежей краски, запах механизмов, соляры, машинного мас-

ла. Каюты и кубрики тоже пахнут совсем не так, как комнаты в обыкновенном доме. В дальнейшей своей жизни я узнаю про запахи моря, солёной воды, йода, узнаю, как в разное время и по-разному пахнет, морской ветер. Познакомлюсь с сейнерами, траулерами, где царит неистребимый, специфический запах рыбы, попавших в трал морских водорослей, специй для посола рыбы. Всё это вместе взятое образует такой «букет» запахов, что не каждому придётся по душе. Все эти познания придут ко мне гораздо позже, а пока – я только что испеченный рулевой-моторист речного флота, и у меня первая в жизни навигация.

На самоходке занимаю каюту по левому борту, она хоть и двухместная, но жить придётся одному. Это для меня не столь важно, потому что торчать в каюте я не собираюсь. В машинном отделении, на палубе, на мостике в рубке столько интересного, что я боюсь что-то пропустить, чего-то не увидеть. Всё же здорово на судне: спешить никуда не нужно, тебя и разбудят вовремя, и накормят, десяток шагов по трапу вниз – и ты в машинном отделении, два десятка ступенек вверх – и ты на ходовом мостике, где вахтенный начальник скажет тебе, что нужно делать, а чего нельзя и вовсе делать. Он же и «фитиля» вставит, ежели что, может иногда и похвалить, но это маловероятно.

Завтра с утра у нас ходовые испытания, и команда уже ночует на судне, мне было велено затопить судовой котёл и вскоре в каютах стало тепло как в Ташкенте, хотя я там ни-

когда не бывал. Набегавшись за день, я прилёг в своей каюте на минутку, а проснулся только утром, парни не стали меня будить ночью, сами подбросили уголька в топку, и до утра тепла хватило.

Поутру не успели мы чайку глотнуть, пришёл РБТ, это рейдовый буксирный теплоход ледокольного типа, он обкалывает корпус, ото льда освобождая, от ледяной чаши. Винты и рули свободны, их ещё зимой выморозили, освободили ото льда. Пока буксир тянет нас к выходу из затона, мы прогреваем дизеля, проворачиваем валовую линию, потом подрабатывая винтами, проверяем рули, после чего отдаём буксир и даём свой ход. Прощай затон до осени, а мы сейчас пробежимся на полном ходу, ещё раз всё проверим и пойдём в грузовой порт.

Навигация. Первый рейс

В порту швартуемся у «стенки», связываемся по рации с диспетчером и получаем указания: кэп выйдя из радиорубки, объявляет, что грузиться будем ПГС (песчано-гравийная смесь), потом идём вниз, до Тобольска и ниже, до впадения Иртыша в Обь. Потом по Оби идём в Обскую губу, к Салехарду, где нас и выгрузят. На обратном пути в Тобольске грузимся по самый клотик лесом и опять идём вверх по Иртышу до Павлодара. Я был в восторге от такой перспективы, такого везения. В первом же рейсе, такой маршрут, это не то, что мои прошлые командировки по казахским степям.

Краном сбрасываем крышки трюмов на берег и становимся под погрузку ПГС. Загрузились, что называется, под завязку: самоходка просела в воде по самую палубу, и только комингс трюмов не давал воде хлынуть вовнутрь; так грузиться даже на речном флоте нельзя, не говоря уж о морском. Крановые перестарались, а мы прошляпили. Вечером все, кроме вахтенных, штурмана и моториста, разъехались по домам прощаться с родными перед недолгой, но разлукой. Я тоже рванул домой похвалится своей удачей, а приехав, небрежно поведал своим, что идём на севера и что есть все шансы и вовсе не вернуться домой, настолько это опасно. Услышав охи-ахи и тяжёлые вздохи мамы, я понял, что достиг желаемого, и в их глазах я стал героем. Жаль, конечно,

их всех, но такая уж у меня работа. В общем, взбудоражил и родных, и себя, воображение у меня разыгралось, и заснул я лишь под утро.

На следующий день, как только собралась вся команда, мы отдали швартовы, подняли якорь и пошли вниз с этим же плавкраном под бортом. Его нужно было доставить на Обь, где он должен был выгружать другие самоходки, которые придут после нас. Вниз по течению мы шли довольно шустро, хотя плавкран и грёб воду, толкая вал перед собой и замедляя ход. Я постоянно находился на мостике или в рубке, даже если не был на вахте; вокруг была такая красота, и всё было для меня ново и интересно. Прошли Омск, Тару, Тевриз, Усть-Ишим, дальше был Тобольск, но мы проходили его ночью, и я мало что увидел. Мы шли по местам, где когда-то «гулял» Ермак со своею дружиной, покоря Сибирь. При впадении Иртыша в Обь, чётко видна граница двух рек: весенняя, но уже чистая вода Иртыша долго не смешивается с мутной, глинистой водой Оби. Была ещё большая вода, отсюда и цвет от размываемых берегов Оби. За Ханты-Мансийском развело волну как на море: плавкран, несмотря на кранцы из покрышек, било о наш корпус, он буровил воду, не желая лезть на волну. Волна стала захлёстывать нас в открытые трюмы, что ничего хорошего нам не сулило, – это я понял по побелевшему лицу кэпа.

Во время очередного «типка», когда мы с краном оказались на разных волнах, носовой швартов лопнул как нитка,

и кран заломило нам за корму. Чтоб опять поставить его под борт, нам пришлось стать бортом к волне, но вода через комингс стала хлестать нам в трюмы, а взять кран на буксир мы тоже не могли. Испугаться мы не успели – некогда было. Мотаясь со стальными швартовыми по мокрой палубе, нам, промокшим как швабры, было не до страха. Спасибо команде плавкрана, они тоже авралили, как и мы. Нужно было спасти кран и самоходку – это наш долг, да и жить охота. Когда уже всё закончилось и мы малым ходом пошли дальше, в рулевой рубке кэп объяснил нам, «неразумным», чем это могло кончиться: «Не справься мы с ситуацией... А впрочем, вы – молодцы, салаги!»

Нам же, «неразумным», хотелось сказать кэпу, но другое: «Смотреть нужно, когда идёт погрузка, но разумно промолчали – икра краба не учит. Дошли до места назначения где-то уже в Обской губе, уже без приключений, кран «притёрли» к берегу, и он сразу приступил к разгрузке. Грейфер крана мотался, как маятник, только крановые, уставая от монотонности работы, иногда менялись. Вскоре мы, оставив кран, отдали концы, и пошли вверх по Оби, а потом и по Иртышу до Тобольска.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.